



Ян Данилов

Глас Пустоземья

«Автор»

2026

Данилов Я.

Глас Пустоземья / Я. Данилов — «Автор», 2026

Старый шаман Охот, чье дыхание срачивается с ветром, а душа давно принадлежит духам тайги, чувствует приближение конца. Не смерти, а перехода в иную форму, но для этого ему нужен преемник. Духи, которым он служит, требуют новой, молодой крови. Выбор падает на семилетнего Кната, тихого и странного мальчика, который видит в темноте то, чего не видят взрослые. Обучение, начавшееся как передача знаний о травах и ритуалах, быстро превращается в безжалостную ломку человеческой природы ребенка. Кульминацией обучения становится 15-летие Кната. Охот объявляет его готовым к главному испытанию — трехлетнему заточению в самой глухой, проклятой чаще, которую местные называют Пустоземьем. В этом месте грань между мирами истончается, время заикливается, а духи не знают пощады.

© Данилов Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	16
Глава 4	21
Глава 5	27
Глава 6	33
Глава 7	38
Глава 8	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Ян Данилов

Глас Пустоземья

Глава

Книга первая
Глас Пустоземья

Глава 1

Зима пришла в деревню Белые Камни не снегом и не стужей — она пришла тишиной. Ещё вчера скрипели телеги, мычала скотина, перекликались бабы у колодца, а нынче всё смолкло, будто кто-то накрыл деревню огромной ладонью и прижал к земле. Даже собаки не лаяли — лежали по подворотням, уткнув носы в хвосты, и только вздрагивали во сне. Мороз стоял такой, что воздух становился хрупким, как слюда, и каждый выдох рассыпался перед лицом облаком ледяной пыли. Но не холод пугал семилетнего Кната. Его пугало то, что притаилось за околицей, там, где чёрная стена тайги упиралась в низкое, будто придавленное к земле небо.

В тот вечер он сидел на лавке у волокового оконца, затянутого бычьим пузырьком, и смотрел наружу. В избе было душно и темно: лучина чадила, бросая на бревенчатые стены пляшущие тени, мать возилась у печи, отец ещё не вернулся с промысла, старшие братья спали на полатах. Кнату полагалось тоже лежать, но он не мог — внутри него росло какое-то глухое, необъяснимое беспокойство, словно кто-то скрёбся под сердцем. Он тёр кулаком замёрзший край оконницы, пытаясь разглядеть хоть что-то в сгущающихся сумерках, и вдруг увидел это.

Над лесом, над чёрными пиками елей, поднималось зарево. Не такое, как от пожара — не красное, не живое, — а мертвенное, бледно-зелёное, как гнилушечный свет, который бывает в гнилых пнях. Оно не металось, не дрожало, а стояло над тайгой ровным, неестественным столбом, и от этого столба во все стороны расходились едва заметные нити — будто кто-то разматывал огромную пряжу, и каждая нить искала себе путь. Кнат замер. Он видел такое не в первый раз — странные вещи являлись ему с самого раннего детства, — но каждый раз это было как удар под дых. Зарево было не просто светом. Оно было присутствием.

— Мам, — позвал он тихо, не отрываясь от окна. Голос прозвучал глухо, как из-под шубы. — Мам, там над лесом... светится.

Мать, Дарья, не обернулась. Она месила тесто в квашне — руки по локоть в муке, лицо покраснело от жара печи. Ей было не до Кнатовых фантазий. Вот уже седьмой год она жила с этим мальчиком и за семь лет успела привыкнуть к его странностям, как привыкают к застарелой болячке — не лечат, но и не удивляются.

— Зарница, поди, — бросила она, не поднимая головы. — Или месяц встаёт. Иди спи, хватит глаза паялить.

— Нет, не зарница, — упрямо сказал Кнат. — Оно зелёное. И не мигает. И нити от него... как паутина.

Дарья замерла. Пальцы её, испачканные тестом, на секунду зависли над квашнёй. Она знала — мальчик редко говорит просто так. Знала и то, что в деревне про таких, как он, говорили шёпотом: «с придуры», «подменыш», «лешачий внук». Сама она не раз крестилась по ночам, глядя, как сын смотрит в пустой угол и улыбается невидимому собеседнику. Но признать это вслух значило бы признать, что её дитя не просто странное, а по-настоящему опасное. И она гнала от себя эти мысли, как гонят назойливых мух.

— Иди спать, кому сказано, — повторила она уже резче. — Не выдумывай. На дворе мороз, вот и мерещится всякое. Утром протопишь печь — всё пройдёт.

Кнат замолчал. Он знал этот тон — так мать говорила, когда боялась. Боялась не за него, а его самого. Он снова прижался лбом к холодному пузырю. Зарево не исчезало. Оно медленно, едва заметно для глаза, двигалось — смещалось к западу, в сторону деревни. И нити, тянувшиеся от него, уже не просто висели в воздухе — они ощупывали землю, как слепые черви. Одна из них коснулась крайней избы, той, что стояла на отшибе, и Кнату показалось, что изба вздрогнула. Или это ему показалось? Нет, не показалось — в той избе жил дед Еремей, и Кнат отчётливо услышал, как там, за тридевять сажень, глухо закашляла скотина. Коровы. У Ере-

мея их было две, и обе сейчас замычали — жалобно, надсадно, с каким-то предсмертным подвыванием.

Кнат отпрянул от окна. Сердце колотилось так, что стучало в висках. Он знал этот звук. Прошлой весной так же мычала корова у мельника, перед тем как пасть. И за день до того, как заболел младший брат старосты. И перед тем, как в позапрошлую зиму волки задрали половину овечьей отары. Всегда — перед самым плохим — приходил этот свет и этот звук. И никто, никто ему не верил.

В избе было тихо. Братья посапывали на печи, мать всё так же месила тесто, лучина потрескивала, отбрасывая тени. Но в этой тишине Кнат слышал другое — шаги. Они раздавались не на улице, не в сенях, а где-то на самой границе слуха, словно кто-то тяжёлый и босой ступал по мёрзлой земле за околицей. Шаг. Ещё шаг. Потом тишина — и снова шаг, ближе. Кто-то шёл от леса к деревне. Шёл медленно, нехотя, но неотвратно. И каждый шаг отдавался в груди Кната тупой, ноющей болью.

— Мам, — прошептал он. — Ты слышишь? Кто-то идёт.

Мать на этот раз обернулась. Лицо её было усталым, под глазами залегли тени, но взгляд — быстрый, цепкий — скользнул по Кнату и тут же отвернулся к окну. Она, конечно, ничего не слышала. Да и как она могла слышать то, что шло не ногами, а самой зимней стужей? Кнат понимал это, но всё равно хотел, чтобы хоть раз, хоть кто-нибудь поверил ему не на словах, а по-настоящему.

— Ветер это, — отрезала мать. — Ветер в трубе воет. Ложись, Христа ради, не томи душу.

— Нет, — тихо, но твёрдо сказал Кнат. — Это не ветер. Это Мор пришёл.

Слово упало в тишину, как камень в колодец. Мать замерла. В избе стало вдруг очень холодно, будто кто-то распахнул невидимую дверь. Дарья медленно вытерла руки о передник, подошла к сыну и, взяв его за плечи, заставила посмотреть ей в глаза. Пальцы у неё были тёплые, пахли квашнёй и дрожали.

— Не смей, — сказала она одними губами. — Не смей такое говорить. Ты понял? Не смей.

Кнат смотрел на неё снизу вверх. Ему было семь, но он уже знал: взрослые боятся. Боятся того, чего не понимают. И когда им страшно, они злятся. Мать сейчас была напугана до смерти, и её страх перетекал в него, смешиваясь с его собственным, и от этой смеси в животе скручивался холодный узел.

— Я не вру, — сказал он тихо. — Я правда видел. И слышал.

Дарья выпустила его плечи и отступила на шаг. Потом повернулась к печи и мелко, часто перекрестилась. Её губы шевелились — она шептала молитву. Кнат остался стоять у окна. Зарево теперь было видно и без того, чтобы прижиматься к оконнице — оно словно пропитало сам воздух, разлилось по небу бледной зеленоватой дымкой. А шаги всё приближались. Тот, кто шёл из леса, уже миновал крайние дома и теперь двигался вдоль заборов, пригибаясь под тяжестью невидимой ноши. Кнат не видел его, но знал — он здесь. Он здесь, и он дышит. Тяжело, с присвистом, как запалённая лошадь.

Ночь прошла без сна. Кнат лежал на лавке, укрывшись тулупом, и смотрел в темноту. Мать и братья давно уснули, но ему не спалось. Шаги в сенях то затихали, то возобновлялись. Иногда ему казалось, что кто-то скребётся в дверь — не настойчиво, а так, словно пробует её на крепость. Иногда слышалось дыхание — прямо за стеной, на расстоянии вытянутой руки. Кнат знал, что, если сейчас встать и выглянуть в окно, он увидит то, что не предназначено для живых глаз. И он не вставал. Лежал, сжавшись в комок, и шептал про себя всё, что помнил из бабкиных наговоров. Бабка у него была знающая — знала травы, заговаривала грыжу, отводила сглаз. Она одна понимала Кната, но прошлой осенью её не стало. Теперь он был один.

Под утро всё стихло. Зарево погасло, шаги растворились в предраассветных сумерках, и Кнат, обессиленный, провалился в короткий, липкий сон. Ему приснилась бабка. Она стояла

на краю леса, в том самом месте, где вчера поднималось зарево, и манила его рукой. Но он не мог подойти — ноги вросли в землю. «Не бойся, — говорила бабка беззвучно, одними губами. — Это ещё не за тобой. Пока не за тобой». И улыбалась. Улыбка у неё была нехорошая — печальная и знающая.

Проснулся он от крика. Кричала мать — не испуганно, а как-то деловито, так кричат бабы, когда во дворе не порядок. Кнат вскочил с лавки, натянул валенки и выбежал в сени, а оттуда — на двор. Утро стояло серое, морозное, от дыхания валил пар. Во дворе уже толпились соседи: бабы кутались в платки, мужики хмуро переглядывались. Мать стояла у ворот и быстро говорила что-то тётке Агафье, размахивая руками. Кнат протиснулся между взрослыми и увидел то, что заставило его сердце замереть, а потом забиться быстро-быстро.

У старосты, у самого зажиточного мужика в деревне, пала скотина. Две коровы и бычок. Они лежали в хлеву неподвижные, с раздутыми животами и остекленевшими глазами, и из приоткрытых ртов свешивались языки — чёрные, как уголья. Запах стоял тяжёлый, сладковатый, как от протухшей требухи. Староста, дядька Степан, стоял над коровами без шапки, седые волосы растрепаны, и молчал. По его морщинистому лицу текли слёзы, но он их не вытирал. Рядом топтались два его сына — взрослые парни — и не знали, куда девать руки.

— Мор, — сказал кто-то за спиной Кната. — Мор пришёл.

Кнат обернулся. Говорил дед Еремей, тот самый, чьи коровы мычали ночью. Он смотрел не на павшую скотину, а на Кната. Смотрел долго, пристально, и в его мутных старческих глазах было что-то такое, от чего Кнату захотелось спрятаться за мать. Но он не спрятался. Выдержал взгляд. И тогда дед Еремей, не отрывая от него глаз, сплюнул в снег и сказал громко, на всю улицу:

— Это не Мор. Это кто-то призвал.

Толпа загудела. Бабы закрестились. Мать схватила Кната за руку и прижала к себе так сильно, что стало больно. Кнат почувствовал, как дрожит её тело, и понял — она тоже слышала шаги этой ночью. Слышала, но не хотела верить. А теперь придётся. Потому что то, что он видел вчера над лесом, было не видением, не сном, не мороком. Это было предвестие. Первый зов. И он, Кнат, оказался единственным, кто его услышал.

Весь день в деревне было беспокойно. Мужчины ходили от двора ко двору, осматривали скотину, качали головами. К полудню заболели овцы у мельника, а к вечеру — лошадь у кузнеца. Симптомы были одни и те же: животные отказывались от корма, дышали тяжело, а потом вдруг падали на колени и умирали. Бабы голосили, мужики курили трубки и мрачно смотрели в сторону леса. К вечеру поползли слухи: кто-то видел ночью над тайгой зелёный свет, кто-то слышал шаги, кто-то нашёл на снегу следы — не человеческие и не звериные, а будто кто-то огромный и голый прополз на брюхе от самой чащи до околицы. Следы вели к дому Кната.

Кнат в тот вечер не выходил из избы. Сидел в углу и слушал, как за окном переговариваются взрослые. Мать ходила сама не своя — то хваталась за ухват, то садилась и бессильно роняла руки на колени. Отец пришёл поздно, угрюмый, от него пахло морозом и чужой бедой. Он долго молчал, потом, не глядя на Кната, сказал жене:

— Завтра привезут знахаря из Верхних Плёсов. Говорят, он отчитывает падёж. А если не поможет... — он осёкся и покосился на младшего сына. — Тогда придётся звать его.

Мать ахнула и закрыла лицо руками. Кнат не сразу понял, кого — «его». Но потом вспомнил. В глубине тайги, в трёх днях пути от деревни, жил старый шаман по имени Охот. О нём в Белых Камнях говорили редко и только шёпотом. Говорили, что он древний, как сам лес, что он знает с духами, что он умеет отводить беду, но плата за это всегда одна. И плата эта — живая душа. Кто-то говорил — он берёт детей. Кто-то — что он просто выбирает себе ученика и уводит его в чащу, и больше того ребёнка никто не видит. Кто-то — что сам Охот давно не человек, а дух, вселившийся в старое тело.

Кнат слушал эти разговоры краем уха и чувствовал, как внутри что-то холодеет. Он знал, что этот человек — настоящий. Знал с той самой минуты, как увидел зелёное зарево. Тогда, глядя на свет, он вдруг ощутил чьё-то присутствие — не злое, не доброе, а просто огромное, как гора. И сейчас, сидя в углу нетопленной избы, он понял: тот, кто шёл ночью от леса, шёл не за скотиной. Он шёл за Кнатом. Проверял. Смотрел. И остался доволен.

Ночью Кнат снова не спал. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. За окном вновь поднималось зарево — на этот раз ярче, ближе, и нити его уже тянулись прямо к их избе, оплетали брёвна, заглядывали в щели. Шаги теперь звучали не в сенях, а прямо в избе. Кто-то ходил по половицам — медленно, тяжело, и каждый шаг отдавался в стенах глухим стоном. Кнат слышал, как на печи заворочался старший брат, но не проснулся. Слышал, как мать всхлипнула во сне. И только отец, казалось, тоже не спал — лежал и смотрел в темноту. Кнат знал: отец слышит. Просто не хочет признаваться.

Утром знахарь приехал. Это был суетливый мужичок с жидкой бородёнкой и бегающими глазами. Он обошёл скотину, поколол какие-то травы, что-то пошептал, но коровы продолжали умирать. К полудню пала последняя животина старосты. Знахарь развёл руками и сказал то, что все боялись услышать:

— Тут не простая хворь. Тут дух. Его надо задобрить. Или изгнать. Я не могу. Зовите того, кто с ними говорит.

Толпа зашумела. Кто-то крикнул: «Шамана!», кто-то — «Не надо, он хуже мора!». Начался спор. Но староста, разом постаревший на десять лет, поднял руку, и все замолчали. Он обвёл взглядом односельчан, задержался на Кнате, стоявшем в стороне, и глухо сказал:

— Завтра пошлю сыновей в лес. Если Охот захочет — придёт. А не захочет — всем нам конец.

В этот момент Кнат почувствовал, как земля под ногами качнулась. Не по-настоящему, а так, словно само мироздание на мгновение потеряло равновесие. Он поднял голову и увидел, что небо над лесом затянулось зеленоватой пеленой, а в самой гуще, там, куда не доставал взгляд, что-то огромное и тёмное поднялось во весь рост. И Кнат знал: тот, кто идёт, уже не остановится. И ждут его не завтра. Ждут прямо сейчас.

Он повернулся и побежал к лесу. Сзади кричала мать, звал отец, но ноги сами несли его по снежной целине, в сторону чёрной стены елей. Он не знал, зачем бежит. Знал только, что если не выйдет навстречу, то случится худшее — не со скотиной, а со всей деревней. И с ним самим.

Лес встретил его тишиной. Снег здесь был нетронутый, глубокий, и Кнат проваливался в него по колено. Но он упрямо шёл, сам не зная куда, пока не вышел на небольшую поляну. Посреди поляны, под старым кедром, стоял человек. Высокий, сутулый, в меховой малице до пят, с посохом в руке. Лица его не было видно — капюшон скрывал черты. Но от человека исходила такая сила, что Кнат замер на месте. Воздух вокруг него дрожал, как в летний зной, и пахло гарью и чем-то сладким, как ладан.

— Я знал, что ты придёшь, — сказал человек. Голос был глухой, низкий, и шёл он не из-под капюшона, а отовсюду сразу, будто говорили сами деревья. — Ты слышал зов. Значит, не ошибся.

Кнат стоял и молчал. Ему было страшно, но не так, как ночью. Этот страх был другого рода — не перед чудовищем, а перед неизбежностью.

— Кто ты? — спросил он наконец, и голос его не дрогнул.

Человек откинул капюшон. Лицо у него было старым, но не дряхлым — скорее застывшим, как у деревянного идола. Глаза глубокие, тёмные, без белков, и в них отражалось зелёное пламя. Охот — а это был он — посмотрел на Кната долгим взглядом и ответил:

— Я тот, кого ты позвал, когда начал видеть. Я пришёл, чтобы забрать своё.

И протянул руку.

Глава 2

Кнат вернулся в деревню затемно. Он не помнил, как шёл — только то, что Охот смотрел ему вслед, пока лес не сомкнулся за спиной, а потом вдруг исчез, будто его и не было. Мальчик брёл по сугробам, спотыкаясь, и в голове его стучала одна-единственная мысль: «Я его видел. Он настоящий. Он приходил за мной». Руку, протянутую ему на поляне, он не принял — что-то внутри крикнуло: «Нет, не сейчас», и Охот, странно усмехнувшись, опустил ладонь и сказал только: «Завтра». Это слово до сих пор стояло в ушах, как звон от удара в большой колокол. Завтра.

У околицы его ждали. Несколько мужиков с факелами, староста с помертвевшим лицом и мать — босая, простоволосая, как безумная. Она бросилась к нему, схватила за плечи, затрясла, заглядывая в лицо. В свете факелов глаза её казались совершенно чёрными — то ли от расширившихся зрачков, то ли от ужаса, застывшего в них навсегда.

— Где ты был? Куда бегал? Леший тебя забери, дитятко неразумное! — причитала она, ощупывая его руки, плечи, голову, словно боялась, что он вернулся не целым. — Мы уж думали — уволок тебя кто... или сам в чащобе сгинул...

Кнат молчал. Он не знал, что говорить. Сказать правду — что встретил в лесу того самого шамана, которого все боятся, — означало бы посеять панику. Промолчать — всё равно что солгать. Но слова не шли из горла, перехваченного сухим спазмом. Он только смотрел на мать и вдруг заметил, что она плачет. Слезы текли по щекам и застывали мелкими льдинками в уголках губ. Отец стоял поодаль, не подходил. Он курил трубку, и красный огонёк её подрагивал в такт его дыханию. Братья жались к воротам, испуганные и любопытные. Вся деревня, казалось, высыпала на мороз, чтобы увидеть, как беглец возвращается домой. И во взглядах соседей читалось не сочувствие, а гадливое любопытство: не тронулся ли умом, не леший ли его водил, не он ли сам накликал мор?

— Ничего, — выдавил наконец Кнат. — Просто... ходил. Смотрел.

Мать не поверила, но допрашивать при всех не стала. Она накинула ему на плечи свой платок, ухватила за руку и почти волоком потащила к дому. Толпа расступилась безмолвно, и в этой тишине Кнату чудилось всё то же: шаги. Только теперь они были далеко, за лесом, но не прекращались. Кто-то ходил там, на границе миров, и ждал своего часа.

Ночь прошла тяжело. В избе никто не спал. Мать зажгла все лучины, какие были, — даже ту, что берегли на чёрный день, — и сидела у стола, уронив голову на руки. Отец хмуро молчал, не раздеваясь, будто ждал гостя. Братья, чувствуя неладное, забились на полати и затихли, как мышата. Кнат лежал на своей лавке, но не смыкал глаз. Ему казалось, что воздух в избе сгустился и дрожит, как над жаркой печью, хотя печь давно прогорела. Знакомый, сладковатый запах — тот, что он ощутил на поляне, — просачивался сквозь щели в стенах. Запах ладана и гари, запах присутствия.

Он знал: Охот придёт не ночью. Ночь — время духов, а шаман, как ни крути, ещё отчасти человек. Он придёт на рассвете, когда первый свет разбавит тьму, и придёт открыто, как хозяин, не прячась. Так и случилось.

Едва серое утро забрезжило за волоковым окном, как в дверь постучали. Нет — не постучали. Дверь просто отворилась сама, без скрипа, будто её толкнула невидимая рука. Морозный воздух ворвался в избу, колебля пламя лучин, и на пороге, заполнив собою весь проём, встал он. Высокий, сутулый, в длинной малице из медвежьей шкуры, расшитой по краям обережной вышивкой — не крестами, а странными узорами, напоминавшими то ли следы зверей, то ли развилки корней. На ногах — пимы из камуса, за спиной — небольшая котомка, в руке — посох. Посох был гладкий, отполированный временем, и наверхие его венчал череп какого-

то мелкого зверька — то ли соболя, то ли куницы, — с глазницами, заполненными застывшей смолой. Казалось, череп смотрит.

Мать ахнула и прижала руки к груди. Отец медленно поднялся с лавки, выпрямившись во весь рост, но тут же словно стал меньше. Братья на полатах замерли. А Кнат сел на своём ложе и стал смотреть. Он не испытывал ужаса — только холодное, звенящее любопытство и где-то глубоко внутри — странное облегчение. Вот оно. Началось.

Охот не поздоровался. Он перешагнул порог, и половицы под ним не скрипнули. Снял малахай, обнажив голову — седые, длинные волосы, стянутые кожаным ремешком, высокий лоб, прорезанный морщинами, похожими на трещины в коре. Лицо его при дневном свете было ещё более странным, чем в сумерках: кожа темная, обветренная, скулы острые, а глаза — глубоко посаженные, без белков, чёрные и блестящие, как у птицы. Он обвёл избу взглядом, и от этого взгляда всем стало неуютно, будто он видел не только стены и людей, но и всё, что когда-либо происходило в этом доме: рождение, смерть, ссоры, тайные молитвы. Задержался на иконе в углу, чуть скривил губы — не насмешливо, а скорее задумчиво, — и, наконец, остановил взгляд на Кнате.

— Давно ли ты слышишь, как трава плачет? — спросил он.

Вопрос прозвучал просто, почти буднично. Так спрашивают, давно ли ребёнок кашляет или когда в последний раз доили корову. Но Кнат понял: это главный вопрос. От ответа на него зависело всё. Он вспомнил лето, когда ему было пять, и он лежал в траве у реки. Тогда он впервые услышал — тонкий, едва уловимый звук, похожий на звон разбитого стекла, помноженный на шёпот. Это пела трава, когда её мяли, когда по ней проходили люди или звери. Он тогда сказал об этом бабке, и та долго смотрела на него, а потом перекрестила и велела молчать.

— Года два, — ответил Кнат тихо. — Может, три. Она плачет, когда её топчут. И ещё — перед грозой. Тогда она не плачет, а стонет.

Охот кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение.

— Хорошо, — сказал он. — А теперь скажи, что ты видел нынче ночью над лесом.

— Зарево, — Кнат говорил тихо, но голос его не дрожал. — Зелёное. Как свет от гнилушки. И нити от него шли. Одна — к дому старосты. И ещё... шёл кто-то. Тяжёлый. Как зверь на двух ногах. Я слышал шаги.

При этих словах мать вскрикнула и зажала рот ладонью. Отец побледнел. Охот же остался невозмутим.

— Это был мой дух-осведомитель, — пояснил он спокойно. — Я послал его вперёд себя — узнать, есть ли в деревне тот, кто способен слышать. И он нашёл тебя. Ты слышал — значит, ты мой.

Он повернулся к отцу с матерью. Те стояли, вжавшись друг в друга, и было в их позах что-то жалкое и обречённое. Они давно боялись этого дня. Давно ждали. С того самого момента, как повитуха, принимавшая роды, вышла из бани с круглыми глазами и сказала: «Ребёнок родился не простой. Он в рубашке, и рубашка та чёрная». Чёрная рубашка — «сорочка» — была редким и страшным знаком. Говорили, что такие дети либо становятся великими ведунами, либо не доживают до семи лет. Кнат выжил. И теперь цена за эту жизнь пришла сама — в обличье древнего старика с посохом.

— Ты знаешь, кто я, — обратился Охот к отцу. Не спросил — утвердил.

Отец кивнул. Губы его шевелились, но слов не было слышно. Казалось, он молится. Не Богу, а кому-то более древнему, о ком в этих краях помнили лучше, чем о Христе.

— Я — Охот, сын Глухого Леса, внук Большого Ветра, — произнёс шаман, и каждое слово падало в тишину, как камень в стоячую воду. — Я служу Хозяйке Пустоземья и духам девяти урочищ. Мне нужен ученик. Ваш сын отмечен печатью. Я забираю его.

В избе повисла тишина. Такая глухая, что слышно было, как за стеной, на морозе, трещит старая сосна. Потом мать бросилась в ноги Охоту.

— Не забирай! — заголосила она, хватая его за край малицы. — Он же дитятко малое! Что он тебе? Возьми скотину, возьми что хочешь, только сына оставь! Я тебе заплачу, отработую, только оставь!

Она рыдала, уткнувшись лицом в мех, и плечи её тряслись. Кнат смотрел на это и чувствовал, как в груди что-то сжимается. Он любил мать. Но сейчас, глядя на неё, ползающую в ногах у чужого человека, он испытывал не жалость, а странную неловкость. Будто она делала что-то неправильное, чего-то не понимала. Отец не двигался. Он стоял столбом, и лицо его превратилось в маску — серую, безжизненную. Кнат знал: отец уже всё решил. В глубине души он был рад избавиться от странного сына, который приносил одни несчастья. Лишний рот. Ходячая беда. Мальчик, который видит то, чего не видят взрослые, и молчит, когда надо бы кричать.

Охот высвободил ногу из рук матери. Сделал это не грубо, но решительно. Наклонился, поднял её за плечи и заставил подняться.

— Женщина, — сказал он глухо, — ты не можешь заплатить. И никто не может. Твой сын не принадлежит тебе с того дня, как впервые увидел тень без тела. Он уже наполовину наш. А то, что принадлежит духам, люди не удерживают. Если я уйду без него — к весне в деревне не останется ни одной живой души. Мор, что пришёл, — это лишь начало. Ты хочешь этого?

Мать замерла. Слезы всё ещё текли по её лицу, но крик оборвался. Она перевела взгляд на Кната. В её глазах он прочитал что-то, чего не видел никогда раньше. Не просто страх. Осознание. Она поняла: её сын — не её. И не был её с самого начала. Она лишь выносила его, выкормила, вырастила, но он всегда стоял одной ногой в другом мире, и этот мир сейчас предъявил права.

— На сколько? — хрипло спросил отец, подав голос впервые за всё время. — На сколько забираешь?

— Навсегда, — ответил Охот. — Вы забудете его имя. Он станет мной, когда придёт срок.

По щеке матери пробежала последняя слеза. Она больше не кричала. Молча подошла к Кнату, обняла его, прижала к себе. Он почувствовал, как бьётся её сердце — часто, испуганно. От её волос пахло дымом и квашнёй. Он вдохнул этот запах, стараясь запомнить навсегда. Затем мать отстранилась, перекрестила его и отошла. Отец так и не двинулся с места. Братья смотрели с полатах огромными глазами. Младший всхлипнул, старший пихнул его локтем, чтобы молчал.

Охот протянул Кнату руку — так же, как вчера на поляне. Теперь настало время принять её.

— Иди, — сказал шаман. — Собери что хочешь взять с собой. Только помни: в Пустоземье тебе не понадобятся игрушки.

Кнат обвёл избу взглядом. Что ему было брать? Деревянного конька, вырезанного отцом? Тряпичную куклу, которую сшила бабка? Он вдруг понял, что ничего не хочет забирать. Всё это принадлежало тому Кнату — маленькому мальчику, который ещё верил, что его странности пройдут. А тот Кнат, которым он становился сейчас, не нуждался в вещах. Ему нужны были только знания. И сила.

— Ничего, — сказал он. — Я готов.

Мать всхлипнула. Отец опустил глаза. И тогда Охот, впервые за всё время, улыбнулся — едва заметно, уголками губ.

— Вот так и уходят, — сказал он негромко. — Без слёз. Слезы — это вода, а вода размывает путь. Ты правильно сделал.

Он развернулся и вышел из избы. Кнат последовал за ним. На пороге он обернулся, чтобы в последний раз увидеть мать. Она стояла у стола, прижав кулаки к губам, и смотрела на него, не мигая. Кнат хотел что-то сказать — «прощай» или «не поминай лихом», — но понял, что слов

таких нет. Есть только этот миг, который нужно просто пережить. Он кивнул ей. И перешагнул порог.

На улице его ждала деревня. Весь Белые Камни, казалось, высыпал на мороз, чтобы посмотреть, как уведут мальчика. Люди стояли вдоль улицы — угрюмые, испуганные, любопытные. Кто-то крестился, кто-то плевал через левое плечо, кто-то смотрел с надеждой: раз шаман забрал одного, значит, остальных не тронет. Староста, стоявший у своего двора, низко поклонился Охоту, но Охот не ответил. Он шёл, не глядя по сторонам, и его посох глухо стучал по убитой снегом земле. Кнат шёл следом, стараясь ступать так же уверенно, но сердце его колотилось где-то в горле.

Они миновали околицу. Здесь Охот остановился. Кнат тоже остановился и оглянулся. Деревня, залитая утренним светом, казалась сейчас маленькой и беззащитной. Дома, колодец, покосившаяся часовенка — всё это оставалось позади. И вместе с этим — всё, что он знал и любил. Он вдруг остро, до боли в груди, ощутил запах родного дыма. Печного, берёзового, смешанного с запахом свежего снега. Запах детства. Он замер, пытаясь удержать его в себе как можно дольше, но ветер подул с леса, и запах исчез.

— Не оглядывайся, — велел Охот, не оборачиваясь. — Там, куда мы идём, прошлое — якорь. Оно топит. Смотри вперёд.

Кнат пересилил себя и отвернулся. Лес стоял перед ним чёрной стеной, и в этой стене теперь была тропа, которую видел только шаман. Они вступили под сень деревьев. Снег здесь лежал ровный, нетронутый, и идти было легко. Охот шагал широко, не оглядываясь, и Кнату приходилось почти бежать, чтобы не отставать. Молчание между ними было не тяжёлым, а каким-то деловым. Так идут не в гости, а на работу. На важную, страшную, необходимую работу.

Часа через два пути, когда деревня осталась далеко позади, а лес стал гуще и темнее, Охот вдруг остановился. Кнат, запыхавшись, поравнялся с ним. Они стояли на краю небольшого оврага, из которого поднимался пар — видимо, там бил незамерзающий ключ. Вокруг росли вековые ели, и их лапы, припорошённые снегом, почти не пропускали свет. Было тихо, только где-то высоко в кронах посвистывал рябчик.

— Теперь слушай, — заговорил Охот, поворачиваясь к Кнату. — Это первый и самый важный урок. Не тот, что я дам тебе позже, с ножом и бубном. Этот урок — о том, что ты есть. Ты думаешь, ты особенный? Нет. Таких, как ты, рождается много. Почти в каждой деревне, в каждом стойбище есть ребёнок, который видит лишнее. Но одни сходят с ума, другие умирают, третьи всю жизнь прячутся. И только один из многих становится шаманом. Как думаешь, почему?

Кнат задумался. Он не знал ответа, но чувствовал, что дело не в везении.

— Потому что он не боится? — предположил он неуверенно.

Охот фыркнул.

— Все бояться, — отрезал он. — Я тоже боялся. И дед мой, первый шаман этого леса, боялся так, что волосы седели за одну ночь. Нет. Шаманом становится тот, кто не убегает. Кто идёт на страх, а не от него. Кто соглашается с тем, что он — не человек.

Он замолчал, давая Кнату переварить сказанное. Глаза его, чёрные и блестящие, буравили мальчика насквозь.

— Ты сейчас думаешь: «Как это — не человек?» — продолжил Охот. — Объясняю. Человек — это тот, кто живёт в мире людей и подчиняется его законам. А шаман стоит на пороге. Одной ногой — здесь, другой — там. Он не может полностью принадлежать ни тому, ни другому миру. И потому у шамана нет ни семьи, ни дома, ни даже имени. Есть только Путь. Ты готов к этому?

— Не знаю, — честно ответил Кнат.

Охот кивнул, будто другого ответа и не ждал.

— Хорошо, что не знаешь. Тот, кто говорит «да», ещё ничего не понял. Тот, кто говорит «нет», уже мёртв. А ты пока жив. Это главное.

Он снял с пояса небольшой кожаный мешочек, развязал его и достал горсть какого-то порошка — тёмного, с зеленоватым отливом. Порошок пах резко, травянисто, и на ладони шамана он будто светился изнутри.

— Открой рот, — велел Охот.

Кнат заколебался. Он знал, что шаманы используют дурман-траву, чтобы говорить с духами. Знал, что это опасно. Но выбора не было. Он открыл рот. Охот высыпал порошок ему на язык. Вкус был горький, едкий, и тут же по телу разлилось тепло. Мир поплыл.

— Это — сон-травы, — донёсся откуда-то издали голос Охоты. — Она откроет тебе глаза на то, что скрыто. Смотри и запоминай. Первое видение — самое сильное.

Кнат покачнулся. Лес вокруг него завертелся, потерял очертания. Ели превратились в тёмные колонны, снег под ногами стал жидким, как вода, и в этой воде отражалось небо, которого не было. А потом из ниоткуда, из самой сердцевины этого нового, текучего мира, вышли они. Тени. Не те, что живут в углах, — настоящие. Громадные, выше деревьев, с неясными очертаниями, напоминавшие то ли зверей, то ли людей, то ли то и другое разом. Они двигались медленно, словно под водой, и от них исходило гудение — низкое, утробное, от которого вибрировали зубы.

— Это хозяева, — шепнул Охот где-то рядом, но его голос звучал иначе, будто пропущенный через толщу земли. — Духи урочищ. Они пришли посмотреть на тебя. Не бойся. Не кланяйся. Просто стой.

Кнат стоял. Тени приближались, и каждая из них несла что-то своё: одна — запах падали, другая — холод, от которого трескалась кожа, третья — смех, похожий на плач ребёнка. Они обступили мальчика, и он почувствовал, как его разглядывают изнутри — не глазами, а чем-то иным, что проникало прямо в мысли. Ему стало страшно так, как не было никогда. Хотелось закричать, но голос пропал. Хотелось бежать, но ноги вросли в землю. Он только смотрел — и видел, как самая большая Тень, увенчанная рогами, медленно наклоняется к нему. От неё пахло дождём и старой кровью.

— Этот? — пророкотало где-то внутри Кнатовой головы. Слово не было сказано вслух, но он его услышал.

— Да, — ответил Охот. — Это он.

Тень замерла на мгновение, а потом отступила. За ней попятились и остальные. Гудение стихло. Лес начал возвращаться на место: ели снова стали елями, снег — снегом, и только горечь во рту напоминала о том, что всё это было наяву.

Охот стоял рядом и смотрел на Кната.

— Они признали тебя, — сказал он просто. — Теперь ты ученик.

Кнат, дрожа всем телом, опустился на снег. Его тошнило. Перед глазами ещё плыли круги, но главное он запомнил: эти глаза, вернее — отсутствие глаз, и этот голос, который прозвучал внутри. И ещё — он понял, что с этой минуты его жизнь перестала ему принадлежать. Но, как ни странно, это не пугало. Это приносило облегчение.

Охот дал ему напиток из фляжки — вода была ледяная, пахла хвоей и возвращала силы. Потом они двинулись дальше. Солнце уже перевалило за полдень, и косые лучи пробивались сквозь кроны, расчерчивая снег золотыми полосами. Где-то далеко, на севере, угадывались горы. Именно туда, в самое сердце Пустоземья, лежал их путь. Но пока они шли к месту, которое Охот называл «Первым капищем». Там, по его словам, должно было состояться посвящение. И там Кнат должен был принести свою первую жертву.

— Это будет олень, — сказал шаман, угадав незаданный вопрос. — Ты убьёшь его своими руками. И когда его дух выйдет, ты посмотришь ему в глаза. И запомнишь этот взгляд. Потому

что когда-нибудь ты тоже уйдёшь — так же, как он. Взгляд уходящего — это зеркало. В нём видно, кто ты есть на самом деле.

Кнат ничего не ответил. Он вспомнил, как несколько лет назад отец резал свинью, и как она визжала, и как ему было жалко её до слёз. Тогда он убежал и спрятался на сеновале. Теперь бежать было некуда. И он знал: когда придёт время, он возьмёт нож. И сделает то, что должен.

Глава 3

Они шли через лес три дня.

В первый день Кнат ещё оглядывался. Ему казалось, что деревья позади смыкаются, отрезая путь назад, и он то и дело замедлял шаг, вслушиваясь в тишину — не донесётся ли издалека лай собак, не скрипнет ли колодезный журавль, не запоёт ли петух на околице. Но лес молчал. Он был полон звуков, но все они были чужие: шорох осыпающегося с ветвей снега, глухой стук дятла, далёкий крик неведомой птицы, похожий на скрип несмазанной двери. Ничего, что напоминало бы о доме. Дом остался где-то за пеленой морозного воздуха, за частоколом елей, за чертой, которую они пересекли, едва выйдя за околицу. И чем дальше они углублялись в чащу, тем призрачнее становились воспоминания. Лицо матери уже теряло чёткость, голос отца звучал в памяти приглушённо, как сквозь толщу воды. Кнату было страшно от того, как быстро стирается прошлое. Будто сам лес высасывал его, заменяя чем-то иным — пока непонятным, но неотвратимым.

Охот шёл впереди. Он не оборачивался, не проверял, поспевает ли мальчик, не предлагал привала. Его фигура в мохнатой малице сливалась со стволами, и порой Кнату казалось, что шаман — часть леса, его движущаяся тень. Лишь посох мерно постукивал по промёрзшей земле, и этот стук был единственным ориентиром. Кнат старался ступать след в след, но ноги у него были короткие, шаг Охота — широким, и вскоре он запыхался. Морозный воздух обжигал лёгкие, пот заливал глаза и тут же застывал на бровях инеем. Он не жаловался. Сказано было: «Не оглядывайся, смотри вперёд» — он и смотрел. Вперёд, где между стволов темнела бесконечная, ещё не пройденная тайга.

На второй день они сделали привал у ручья, который не замёрз даже в лютую стужу. Вода в нём была чёрная, маслянистая, и от неё поднимался пар. Охот велел Кнату напиться. Тот наклонился, зачерпнул ладонями — и одёрнул руки: вода оказалась горячей, почти обжигающей. Пахла она тухлыми яйцами и ещё чем-то сладковатым, напоминавшим запах ладана. Кнат выпил, превозмогая тошноту. Жидкость обожгла горло, но потом по телу разлилось приятное тепло, и усталость отступила.

— Это кровь земли, — сказал Охот, не дожидаясь вопроса. — Она выходит из глубин, где спят те, кто старше богов. Пей. Она даст тебе силу идти. Но не пей много — привыкнешь, и обычная вода станет для тебя ядом.

Кнат кивнул и запомнил. С каждым часом он начинал понимать, что учение Охота — не уроки в привычном смысле. Нет ни повторений, ни объяснений. Шаман роняет слова, как семена, и только потом, спустя дни или недели, они прорастают в сознании, обретая истинный смысл. Пока же нужно просто впитывать всё: запахи, звуки, ощущения. Мир вокруг становился плотнее, насыщеннее, и Кнат вдруг осознал, что начинает различать оттенки тишины. Лесная тишина не была пустотой — она была тканью, сотканной из множества неслышимых звуков. Где-то глубоко под снегом шевелились корни. В стволах деревьев, если прижаться ухом, гуляли соки — медленно, как кровь в жилах спящего великана. А высоко в небе, за серой пеленой облаков, кружили невидимые глазу токи воздуха, и по ним, как по струнам, пробегали дрожания — дыхание ветров, которые ещё не родились.

Охот заметил, что Кнат прислушивается.

— Слышишь? — спросил он, не оборачиваясь.

— Да, — ответил мальчик. — Только не знаю что.

— Это лес дышит. Он всегда дышит, но люди глухи. Ты был глух, пока не выпил крови земли. Теперь твой слух просыпается. Дальше будет больше.

Ночью они развели костёр под выворотнем — огромной елью, вывороченной из земли вместе с корнями. Корни эти, толщиной с туловище взрослого мужика, торчали во все сто-

роны, образуя подобие шалаша. Внутри было тесно, но тепло. Охот наломал еловых лап, бросил их на землю, и получилась лежанка, пахнувшая смолой. Кнат забился в самый угол, завернулся в тулупчик — единственное, что он взял из дома, — и стал смотреть на огонь. Охот сидел напротив, скрестив ноги, и тоже смотрел в пламя. Отсветы плясали на его лице, делая его то моложе, то старше. Иногда казалось, что сквозь его черты проступает кто-то другой — более древний, с резкими, почти звериными скулами и горящими глазами. Кнат вспомнил рассказы деревенских стариков: будто бы шаманы умеют перекидываться в зверей. Может, и Охот умеет? Может, прямо сейчас его дух сидит где-то на ветке в обличье филина и смотрит на Кната сверху?

— Не гадай, — сказал вдруг Охот, словно прочитав мысли. — Перекидываться — бабы сказки. Никто не умеет обращаться в зверя телом. Но духом — да. Духом я могу быть, где угодно. И ты научишься. Только сначала надо умереть.

— Умереть? — переспросил Кнат, и голос его дрогнул.

— Да. Умереть прежним. Сбросить человеческую шкуру, как змея. Ты думаешь, шаманом рождаются? Нет. Шаманом умирают. И воскресают уже другими. Это будет не скоро. Но будет. А пока спи. Завтра придём на место.

Кнат закрыл глаза. Ему казалось, что он не уснёт — слишком много впечатлений, — но усталость взяла своё. Он провалился в глубокий, без сновидений сон, и впервые за много дней его не мучили шаги в сених и голоса за стеной. Лес принял его и баюкал, как дитя.

На третий день местность изменилась. Лес стал реже, но деревья — выше и толще. Это были кедры-великаны, каждый в три обхвата, с кронами, уходящими в самое небо. Под их сенью снега почти не было — толстый слой хвои мягко пружинил под ногами. Пахло смолой, грибами и чем-то неуловимо знакомым — тем самым запахом ладана, который Кнат ощущал на поляне при первой встрече с Охотом. Здесь царил полумрак, хотя солнце ещё стояло высоко. Косые лучи пробивались сквозь кроны редкими золотистыми столбами, и в этих столбах танцевала пыльца — или то был невидимый снег, или что-то иное. Кнат заметил, что Охот ступает здесь осторожнее, как человек, вошедший в священное место. Он перестал опираться на посох и держал его на весу.

— Пришли, — сказал он наконец, останавливаясь у подножия самого большого кедра.

Ствол его был покрыт наростами, похожими на застывшие лица. Кнат вгляделся — и вздрогнул: ему почудилось, что одно из «лиц» скосило глаза в его сторону. Он отвёл взгляд и тут заметил, что за кедром, на небольшой поляне, скрытой от посторонних глаз густым подлеском, стоит капище. Это было не сооружение, а скорее место: несколько грубо обтёсанных идолов, врытых в землю полукругом, а в центре — плоский камень, тёмный, почти чёрный, отполированный прикосновениями многих рук. На камне лежал слой инея, но даже сквозь иней проступали бурые, давно впитавшиеся пятна. Кровь.

Вокруг идолов на ветках были развешаны лоскуты ткани, клочки меха, пучки сухих трав и что-то ещё — при ближайшем рассмотрении Кнат с ужасом распознал птичьи лапки, змеиные шкурки и маленькие, пожелтевшие черепа. Не звериные. Человеческие. Детские. Он замер как вкопанный. Ноги отказывались идти дальше.

— Это подношения, — пояснил Охот спокойно. — Не бойся. Это всего лишь кости. Сосуды, из которых ушла жизнь. Духи забирают суть, а оболочка остаётся. Как пустой горшок. Ты тоже станешь пустым горшком. И наполнишься иным.

Он положил руку на плечо Кната и подтолкнул его вперёд — не грубо, но настойчиво. Они вошли в круг идолов. Внутри было холоднее, чем снаружи, и тишина здесь стояла другая — абсолютная, как в погребке. Даже звук шагов глож, будто его засасывала земля. Охот подвёл Кната к жертвенному камню, велел стоять и не двигаться, а сам отошёл куда-то за идолов, где, как оказалось, была спрятана небольшая землянка, прикрытая лапником. Из неё шаман вывел оленя.

Зверь был молодой, не старше года. Тонконогий, с бурой, ещё детской шерстью и большими влажными глазами, в которых плескался ужас. Олень упирался, дёргал головой, но Охот держал крепко — за верёвку, обмотанную вокруг рожек. Подвёл его к камню, заставил лечь, и олень лёг, как будто ноги его подкосились сами. Он дрожал всем телом, из ноздрей вырывался пар, и Кнат видел, как быстро-быстро бьётся жилка у него на шее. Так же часто билось сердце у него самого.

Охот выпрямился и достал из-за пазухи нож. Не простой — длинный, с костяной рукоятью, покрытой резьбой, и лезвием, потемневшим от времени. Он протянул его Кнату рукоятью вперёд. Тот машинально принял. Нож оказался тяжелее, чем он ожидал, и холоднее — холод проникал сквозь варежку, поднимался по руке до самого плеча.

— Режь, — сказал Охот. Голос его прозвучал буднично, как если бы он просил подать ему дров. — Медленно. Слушай его дух.

Кнат стоял и смотрел на нож. Потом перевёл взгляд на оленя. Зверь смотрел на него в ответ. В его тёмных, блестящих глазах было не только отражение мальчика с ножом — в них было понимание. Олень знал, что сейчас умрёт. И он ждал.

— Я не могу, — прошептал Кнат. Губы его едва шевелились. — Я не могу убить. Он живой. Он смотрит.

— Конечно, живой, — Охот не выказывал нетерпения. — Именно потому. Мёртвого резать — не заслуга. Это урок первый. Ты должен переступить. Переступить через жалость, через страх, через то, что люди называют добром. Добро — для людей. А ты теперь не совсем человек. Я сказал тебе: шаман стоит на пороге. А порог режет. Ты понял?

Кнат кивнул, но нож не поднял. Рука словно одеревенела. Перед глазами встала картина: отец режет свинью, свинья визжит, кровь хлещет в подставленное ведро. Его тошнило, он убегал. Сейчас бежать некуда — только в лес, но лес вокруг был чужой, населённый духами, и там его ждали бы ещё большие ужасы. А здесь — только нож и олень. И он, Кнат, в центре круга.

— Я не могу, — повторил он, и в голосе зазвенело отчаяние. — Убейте его сами. Я не хочу.

Охот вздохнул. Но не разозлился. Он подошёл ближе, встал за спиной Кната и положил свою ладонь поверх его, сжимавшей рукоять. Ладонь была сухая, горячая, с длинными, цепкими пальцами, похожими на корни. Кнат почувствовал, как сквозь эту ладонь в него вливается спокойная, непреклонная сила.

— В первый раз всегда не можешь, — произнёс шаман почти ласково. — У всех так. Дед мой вёл меня к этому камню, и я тоже говорил «не могу». И он тоже положил свою руку поверх моей. Слушай меня, мальчик. Ты боишься не боли оленя. Ты боишься того, что станет с тобой, когда ты сделаешь это. Боишься перестать быть прежним. Но ты уже перестал. Этот миг — лишь печать. Вдохни. Выдохни. Смотри ему в глаза. И режь.

Он надавил. Медленно, неумолимо, их общие руки опустились. Лезвие коснулось горла оленя — туда, где билась тонкая жилка. Олень дёрнулся, но верёвка держала крепко. Кнат хотел зажмуриться, но Охот вдруг резко приказал:

— Смотри!

И он смотрел. Видел, как острие погружается в шкуру, как проступает тёмная капля, как она срывается вниз и застывает на полпути рубиновой бусиной. Видел, как расширяется зрачок оленя, заполняя весь глаз чернотой. Видел, как из горла вырывается не крик — вздох, почти человеческий. А потом... потом время остановилось.

Кнат увидел это боковым зрением — сперва не понял, решил, что мерещится. Но Охот тоже заметил и чуть ослабил хватку. На стене кедрового ствола, освещённого скудным лесным светом, метались тени — две тени. Одна принадлежала шаману, другая — Кнату. Но с тенью Кната творилось неладное. Она отставала. Не повторяла движений тела, а жила сама по себе. Пока мальчик стоял, вцепившись в нож, его тень медленно, неуклюже выпрямилась во весь

рост, повела плечами — и повернула голову в сторону оленя. У тени не было лица, но Кнат почувствовал её внимание. Острый, голодный интерес.

Охот кивнул — то ли себе, то ли кому-то невидимому:

— Она проснулась. Хорошо.

Кнат хотел спросить — кто «она», почему тень живая, что происходит, — но слова застряли в горле. Его тень тем временем наклонилась над оленем, простёрла свои бесплотные руки, и в тот же миг Кнат ощутил, как нож входит глубже, как лезвие встречает хрящ, как горячая кровь выплёскивается на пальцы. Не Охот направлял его руку — теперь она двигалась сама, ведомая тенью. Он сделал надрез. Длинный, глубокий, от уха до уха, как учил шаман. Олень захрипел, задёргался, но всё было кончено быстро. Его взгляд остекленел. Из раны вырывался пар — в морозном воздухе он смешивался с паром дыхания, и над камнем поднялось облако, которое тут же осело инеем на одежде и волосах.

Всё стихло. Кнат разжал пальцы. Нож упал на камень с глухим стуком. Его трясло. Он смотрел на свои руки в крови, на тело оленя, на камень, на тень, которая теперь снова стояла на месте, как ни в чём не бывало. Это была его тень — обычная, детская, с круглой головой и короткими ногами. Но он знал, что ему не показалось. Там, в момент убийства, она жила своей волей. И она наслаждалась.

Охот подобрал нож, вытер лезвие о снег и спрятал за пазуху. Потом повернулся к Кнату, взял его за плечи и заставил посмотреть себе в лицо. В чёрных глазах шамана отражался кровавый след на снегу.

— Это твоя Тень, — сказал он отдельно. — Раньше она спала, как спит у всех людей. Но у тех, кто отмечен духами, она просыпается. Она — не зло и не добро. Она — твоя сила. Твой дух-помощник, который живёт в тебе самом. Ты боялся, что не сможешь убить? Она смогла. Она может всё, чего боится твой человеческий разум. И отныне она будет с тобой. Но помни: она — это ты. Твоя злоба, твой страх, твоя тёмная половина. Если дашь ей волю — она сожрёт тебя. Если запрёшь — потеряешь силу. Ты должен научиться жить с ней. Это второй урок.

Кнат слушал, но смысл доходил с трудом. Его всё ещё колотило. Он опустился на колени прямо в снег и вытянул руки. Кровь уже начала застывать, стягивая кожу коркой. Он смотрел на свои ладони и не узнавал их. Это были руки убийцы. Пусть оленя, пусть по необходимости, но — убийцы. Та же самая рука, что держала материн подол, что собирала ягоды, что рисовала углём на бересте смешных человечков. Теперь она знала, как уходит жизнь. И это знание невозможно было забыть.

Охот дал ему время. Он отошёл к идолам, что-то зашептал, разбрасывая горсти табака и сушёных трав. Духи принимали жертву. Потом шаман освежевал оленя, ловко орудуя другим, простым ножом. Кнат не смотрел. Он отошёл к краю поляны, сел под кедром и уставился в землю. Тень лежала у его ног — неподвижная, послушная. Но он знал: она притворяется. Теперь он будет всегда знать это.

Позже Охот развёл костёр уже за пределами капища — там был очаг, сложенный из камней, видимо, очень старый. Над огнём зажарили оленью печень и сердце. Шаман подал Кнату кусок на берёзовой коре. Тот взял. Мясо пахло дымом и кровью. Кнат откусил — и почувствовал, как тепло разливается по жилам. Это была не просто еда. Это было принятие. Он съел сердце того, кого убил, и теперь сила зверя становилась его силой.

— Ты сегодня переступил, — сказал Охот, глядя в огонь. — Это было начало. Но настоящая работа впереди. Ты будешь учиться видеть то, что скрыто. Говорить с теми, кто молчит. Ходить по мирам. А пока — запомни этот день. Запомни, как твоя Тень проснулась. Это первый зов силы. Ты его услышал. Теперь сила будет расти, и Тень — расти вместе с ней. Твоя задача — не дать ей обогнать тебя.

Кнат жевал и молчал. Вкус печени был горьковатый, но приятный. Он смотрел на свои руки. Кровь уже смыли снегом, но под ногтями ещё оставались бурые следы. Ему казалось,

что вместе с этой едой в него входит что-то ещё — темнота, которая дремала в этом лесу столетиями. Она не была враждебной. Она была... голодной. Как его Тень.

Когда стемнело, Охот велел собираться. Они не останутся ночевать у капища — здесь обитали духи, которым не следует мешать. Путь предстоял ещё долгий: до того места, где Кнату предстоит прожить ближайшие восемь лет, пока не настанет срок главного испытания. Охот называл это место «Первым домом». И Кнат, уходя с поляны вслед за шаманом, уносил с собой не только ножевой урок. Он уносил тень, которая теперь шла рядом — то ли за ним, то ли сама по себе. И в глубине души он знал: когда-нибудь она обернётся. И тогда им придётся говорить уже на равных.

Лес смыкался за ними, и тишина была полной. Только изредка где-то далеко-далеко, за многие вёрсты, кричал ворон. И его голос был похож на смех. Или на плач. Кнат так и не понял. Он просто шёл, глядя под ноги, и старался не смотреть на свою тень. Та плелась сбоку, немного отставая, и ему казалось, что она ухмыляется.

Глава 4

Восемь лет — долгий срок для человека, но короткий для леса. Деревья, под которыми Кнат мальчишкой шёл к Первому капищу, почти не изменились — разве что мох стал гуще, да молодая поросль поднялась там, где когда-то буря повалила старую ель. А вот сам Кнат изменился до неузнаваемости. От семилетнего заморыша, боявшегося собственной тени, не осталось и следа. Теперь по тайге шагал широкоплечий юноша, высокий не по годам, с жилистыми руками, привыкшими и к топору, и к ножу, и к бубну. Лицо его, обветренное и смуглое, хранило выражение спокойной, внимательной настороженности — так глядит зверь, который знает, что он не один в лесу, но не боится, потому что лес — его дом. Волосы, чёрные и прямые, он стягивал на затылке сыромятным ремешком; одежду носил простую — кожаные штаны, меховую безрукавку, мягкие сапоги-кисы, — но за поясом у него висел нож с костяной рукоятью, тот самый, полученный от Охота в день первого урока. Нож знавал много работы: свеживал зверя, резал травы, вырезал идолов и обереги. И кровь на нём была не только звериная. Однажды, два года назад, Кнату пришлось защищаться от беглого каторжника, забредшего в их угоды. Он не любил вспоминать тот случай, но Охот сказал тогда: «Ты переступил ещё один порог. Теперь ты воин. Это нужно».

Сейчас они снова шли — учитель и ученик, — но теперь Кнат не плёлся позади, а держался рядом, иногда даже на полшага впереди. Охот сдал за эти годы: спина сгорбилась сильнее, поступь утратила былую упругость, а голос, когда он говорил подолгу, начинал дрожать, как натянутая тетива на ветру. Но глаза его оставались прежними — чёрными, бездонными, полными того жутковатого знания, которое он не спешил передавать до поры. И сейчас, на восьмую весну их общей жизни, он вёл Кната к последнему рубежу.

Они вышли затемно, ещё до того, как серый рассвет просочился сквозь кроны. Сборы были недолги: Кнат взял котомку с сушёным мясом и травами, огниво, запасной нож, маленький бубен, который сам смастерил под присмотром Охота, — и всё. Никаких прощаний с Первым домом, где они прожили эти годы, — просторной землянкой на берегу Чёрного ручья. Охот сказал: «Оглядываться будешь потом, если захочешь. Пока — вперёд». И Кнат подчинился. Он давно научился подчиняться без возражений — не из страха, а из доверия. Охот знал, что делает. Всегда знал.

Путь лежал на север, в глубины Пустоземья, о котором Кнат слышал много раз, но никогда не видел. Охот говорил о нём редко, короткими, загадочными фразами: «Там земля дышит», «Там время — как стоячая вода», «Там твой настоящий учитель». И когда Кнат спрашивал, что это за учитель, Охот неизменно отвечал: «Тишина». Теперь, шагая по тайге третьи сутки, Кнат начинал понимать, что это не метафора. Лес вокруг менялся. Не сразу, не вдруг, но с каждым часом всё заметнее.

В первый день пути ещё ничего не предвещало перемен. Обычная тайга: высокоствольные сосны вперемежку с ельником, белые мхи под ногами, следы зверей на снегу — заячьи петли, росчерки тетеревиных крыльев, редкие волчьи цепочки. Птицы перекликались в кронах. Где-то далеко стучал дятел. Кнат узнавал эти места: они бывали здесь не раз, охотились, собирали коренья. Всё привычное, понятное, своё. К вечеру они разбили лагерь у знакомого ключа, сварили похлёбку из глухаря, добытого Кнатом по пути. Охот был молчалив, но это не тревожило — обычно он не тратил слов попусту. Только когда солнце уже село и звёзды высыпали над головой, он вдруг сказал:

— Завтра увидишь Пустоземье. Запомни этот вечер. Это последний вечер, когда ты — просто человек.

Кнат хотел спросить, что это значит, но Охот уже отвернулся к огню и закрыл глаза. И Кнат промолчал, понимая: ответ придёт сам.

На второй день лес начал меняться. Сперва это было почти незаметно — так, мелочи, на которые другой и не обратил бы внимания. Но Кнат, обученный замечать скрытое, видел. Сосны вдруг стали ниже ростом, но толще в обхвате, и стволы их были искривлены — не плавно, как бывает от ветра, а резко, угловато, будто какая-то сила скручивала их в муках. Кора на них лопалась, обнажая древесину неестественного багрового цвета — как запёкшаяся кровь. Ветви переплетались так тесно, что местами образовывали сплошную стену, через которую приходилось прорубаться ножом. Иголочки на этих соснах были не зелёные, а серые, с серебристым отливом, и когда Кнат случайно задел одну такую ветку, иголочки осыпались на снег с сухим, стеклянным звоном.

Но страшнее всего были корни. У здешних деревьев они вылезали наружу, извивались поверх земли, как щупальца неведомых тварей, и уходили в почву в самых неожиданных местах — иногда в десятке шагов от ствола. Кнат несколько раз спотыкался о них, хотя был ловок и привычен к лесной ходьбе. А один раз ему почудилось, что корень под его ногой шевельнулся — дрогнул и уполз в сторону, освобождая путь. Он замер, но Охот, не оборачиваясь, бросил:

— Не обращай внимания. Они чуют чужака. Пока мы вместе, не тронут.

От этих слов легче не стало. Кнат поправил котомку и пошёл дальше, стараясь ступать осторожнее. Воздух здесь был другим — тяжёлым, влажным, хотя снега на земле становилось всё меньше. Под ногами чавкала грязь, хотя мороз стоял по-прежнему лютый, и дыхание вырывалось изо рта облаками пара. Тепло поднималось откуда-то снизу, из-под земли, и от этого тепла на поверхности гнили опавшие листья, хотя кругом был хвойный лес и никаких лиственных деревьев не росло. Запах стоял сладковато-приторный, как от разложения, смешанный с тем же знакомым ладанным духом, который всегда сопровождал Охота во время ритуалов. Птицы замолчали. К середине второго дня Кнат понял, что не слышит ни одной — только тишину, нарушаемую их собственными шагами. Тишина была не обычной, лесной, когда звуки просто отсутствуют. Она была плотной, как будто её можно потрогать. Она давила на уши, и в ней рождался свой, внутренний звон — высокий, монотонный, от которого начинала болеть голова.

К вечеру второго дня они вышли к поляне, залитой странным светом. Солнце уже клонилось к закату, но здесь, под пологом переплетённых ветвей, царил полумрак — и всё же поляна светилась. Источником света были грибы. Огромные, в пол-локтя высотой, они росли из мёртвых стволов, из трещин в земле, из скоплений гниющей хвои. Их шляпки, бледные и полупрозрачные, испускали ровное зеленоватое сияние — то самое, которое Кнат видел над лесом восемь лет назад, в ночь первого зова. Сейчас он мог разглядеть их вблизи. Грибы были не просто светящимися — они дышали. Шляпки их мерно вздымались и опускались, как грудь спящего, и с каждым «вдохом» свечение усиливалось, а с каждым «выдохом» тускнело. Между грибами струился зеленоватый туман, и в этом тумане двигались какие-то тени — не духи, а скорее отпечатки духов, их эхо. Охот не остановился, только бросил короткое:

— Не вдыхай глубоко. Идём быстро.

Кнат задержал дыхание и почти бегом пересёк поляну. Когда они снова углубились в чащу, он спросил:

— Это оно? Пустоземье?

— Нет, — ответил Охот. — Это ещё только преддверие. Там, — он махнул посохом куда-то на север, — всё гораздо глубже. Ты пока скользишь по краю. Настоящее начнётся завтра.

Ночлег устроили на небольшом возвышении, среди россыпи валунов. Охот начертил посохом круг на земле, насыпал по его краю соль и табак — защита от низших духов, которые, по его словам, здесь кишели, как черви в падали. Костёр разводить не стали: Охот сказал, что огонь в этом месте привлекает не тех, кого надо. Кнат съел кусок сушёной оленины, запил водой из фляги и закутался в меховой плащ. Спать не хотелось — слишком взвинчены

были нервы. Он лежал на спине, глядя в небо, но неба не было видно. Кроны деревьев сплелись наверху в сплошной чёрный купол, и ни единой звезды не пробивалось сквозь эту толщу. Только иногда по куполу пробегали всё те же зеленоватые сполохи — будто кто-то дышал над лесом огромным, невидимым ртом.

— Расскажи мне про Пустоземье, — попросил он в темноте. — Всё, что не рассказывал раньше. Я должен знать, куда иду.

Охот долго молчал. Кнат уже решил, что он не ответит, когда старый шаман заговорил. Голос его звучал глухо, как из-под земли.

— Пустоземье — это не место. Это состояние. В древности здесь был разлом. Не земной — небесный. Один из старых богов упал с неба и разбился, и его кровь пропитала землю. С тех пор здесь всё живёт иначе. Деревья растут корнями вверх, если им вздумается. Звери говорят на языках, которых не слышат люди. Время не течёт — оно стоит, как болото, и иногда пузырится. Ты можешь войти сюда мальчиком, а выйти стариком — или наоборот. Я знал одного шамана, который провёл в Пустоземье три года, а когда вышел, оказалось, что в мире прошло тридцать зим. И он сам не заметил.

Он помолчал, потом продолжил:

— Там, в самой сердцевине, живёт Хозяйка. Не дух, не богиня — нечто иное. Она была здесь до разлома, до старых богов, до самого леса. Она — мать всего, что ползает, летает и ходит. И она же — смерть. Ей не молятся. С ней договариваются. Я договаривался много раз. Платил. Плата всегда одна: часть себя. Ты тоже будешь платить. Но не бойся — она берёт не то, что тебе дорого. Она берёт то, что тебе мешает. Сомнения. Страхи. Привязанности. Она выедает их, как кислота. И когда ты выйдешь — если выйдешь, — ты станешь пустым. Абсолютно пустым. И в эту пустоту войдёт сила.

Кнат слушал, и холодок полз по спине. Он знал, что Охот не преувеличивает. За восемь лет он научился чувствовать правду в словах учителя — она всегда была тяжёлой, как камень, и пахла землёй.

— Ты прошёл через это? — спросил он.

— Да, — ответил Охот. — Только меня отправили в Пустоземье позже, чем тебя. Мне было почти двадцать. Мой учитель вёл меня к черте, как я тебя сейчас. И когда я переступил порог, я думал, что умру. Я умирал много раз. И много раз рождался заново. Там ты встретишь всё, что прячется в твоей душе. Всех демонов, все страхи, всю тьму. Они обретут плоть и будут говорить с тобой. Будут искушать, пугать, мучить. Твоя Тень — та, что проснулась в тебе при первой жертве, — станет твоим главным врагом. Или главным союзником. Это зависит от тебя.

Кнат вспомнил ту Тень. За восемь лет она не исчезла — наоборот, стала ближе. Иногда, во время транса или на грани сна, Кнат чувствовал её присутствие как нечто отдельное. Она не говорила с ним — пока не говорила, — но наблюдала. Всегда наблюдала. И он знал, что в Пустоземье это изменится.

— Зачем ты вообще меня этому учил? — вырвалось у него. — Травам, духам, ритуалам? Если настоящий учитель — там, в Пустоземье, зачем были эти восемь лет?

Охот в темноте издал звук, похожий на смех — сухой, как шорох листьев.

— Травы и ритуалы — это только язык. Я учил тебя словам. Чтобы ты мог говорить с духами, когда они придут. Но слушать ты будешь не меня. И говорить будешь не со мной. Я — лишь проводник. В Пустоземье ты поймёшь, что все мои уроки были только предисловием. Там, — он повысил голос, — там твой настоящий учитель. Тишина. Она научит тебя тому, чему никто из живых научить не может. Как умирать. Как возвращаться. Как быть пустым и полным одновременно.

Он замолчал, и больше в ту ночь они не говорили. Кнат смотрел в темноту, слушал дыхание леса — хриплое, неровное, как у больного зверя, — и пытался представить, что его ждёт.

Воображение рисовало картины одна страшнее другой, но он понимал, что реальность окажется иной. Хуже? Лучше? Он не знал. И именно это незнание было самым тяжёлым.

На третий день они достигли Черты.

Сначала Кнат ничего не понял. Они шли через такой же корявый, изуродованный лес, перебирались через корни-щупальца, огибали светящиеся грибницы, — и вдруг Охот остановился. Перед ними лежала полоса поваленных деревьев, шириной шагов в двадцать. Сосны, огромные, в три обхвата, были вырваны из земли с корнем и лежали штабелями, перекрещиваясь стволами, как мёртвые воины на поле битвы. Корни их всё ещё держались за землю, а ветви, хоть и поломанные, были покрыты хвоей — не серой, как в преддверии, а обычной, зелёной. Деревья были мертвы, но не хотели умирать. Сквозь кору некоторых из них пробивались молодые побеги. Из трещин в стволах сочилась смола — красная, густая, и она пахла не скипидаром, а железом. Свежей кровью.

— Вот Черта, — сказал Охот. Голос его прозвучал буднично, но Кнат заметил, что рука, сжимающая посох, побелела в костяшках. — За ней начинается Пустоземье. Настоящее, глубокое. То, что ты видел до сих пор, — только краешек. Там, — он указал посохом вперёд, — всё по-другому.

Кнат вгляделся. За полосой бурелома лес действительно менялся. Деревья там росли не вверх, а в стороны, изгибаясь самыми причудливыми способами. Некоторые стволы закручивались в спирали, некоторые оплетали друг друга, как змеи. Ветви свисали до земли и врастали в неё, становясь новыми стволами. Создавалось впечатление, что лес находится в постоянном, медленном движении — не так, как двигаются живые существа, а как перемещается тесто, когда его месят. Воздух над Пустоземьем дрожал, хотя мороз не ослабевал, и в этом дрожании мелькали какие-то неясные силуэты. Небо над чащей было другого цвета — не серого, не синего, а тускло-жёлтого, как старая кость. И оттуда, из-за Черты, не доносилось ни звука. Совсем. Даже ветра. Даже того вездесущего звона, что преследовал их последние два дня. Ничего.

Охот снял с шеи амулет. Кнат видел его много раз — кожаный шнурок с подвеской из резной кости, потемневшей от времени. На кости был вырезан узор, напоминавший переплетённые ветви, а в центре сиял маленький камень — мутный, зеленоватый, похожий на осколок бутылочного стекла. Охот никогда не снимал его, даже во сне. А теперь снял и протянул Кнату.

— Надень, — сказал он. — Это оберег моего рода. Ему триста лет. Его сделал первый шаман, вошедший в Пустоземье и вернувшийся. В этом камне — капля крови Хозяйки. Пока он на тебе, она будет знать, что ты — под моей защитой. Но защита не вечна. Камень будет выедать твою силу, а сила Пустоземья — выедать камень. Однажды ты заметишь трещину. Потом другую. Потом он начнёт крошиться. И когда он рассыплется в прах, — Охот сделал паузу, — это будет значить, что твой срок вышел. Ты должен вернуться до того, как это случится. Если не вернёшься... значит, ты уже не вернёшься никогда.

Кнат взял амулет. Тот был лёгким, почти невесомым, но когда юноша надел его на шею, почувствовал тяжесть — не физическую, иную. Будто кто-то невидимый положил руку ему на плечо. Камень лёг в ямку между ключицами и был тёплым, даже горячим, несмотря на мороз.

— Я вернусь, — сказал он. Не спрашивал — утверждал. Ему нужно было произнести это вслух, чтобы самому поверить.

Охот посмотрел на него долгим, странным взглядом. В чёрных глазах старого шамана мелькнуло что-то похожее на печаль — или на зависть. Или на облегчение. Кнат не смог разобрать.

— Может быть, — сказал Охот. — А может, и нет. Я не вижу твоего будущего. Это хороший знак. Значит, оно ещё не решено.

Он вдруг положил посох на снег, подошёл к Кнату и взял его за плечи — точь-в-точь как тогда, восемь лет назад, у Первого капища. Пальцы у него были сухие, горячие, с неожиданной силой.

— Слушай меня, мальчик, — заговорил он, и голос его зазвучал иначе — глубже, тяжелее, словно сквозь него говорил кто-то ещё. — Я дал тебе всё, что мог. Слова, имена, знаки. Ты знаешь травы и яды. Знаешь язык зверей и шёпот ветра. Ты убивал и воскрешал. Ты стоял на пороге Нижнего мира и возвращался. Но всё это — ничто. Там, — он кивнул за Черту, — ты будешь один. Совсем один. С тобой не будет ни меня, ни духов-помощников, ни даже твоей Тени — она станет отдельной и чужой. У тебя будет только то, что внутри тебя. И если внутри пусто — ты погибнешь. Если внутри есть стержень — ты выживешь и вернёшься. Каким — не знаю. Но это будешь уже не ты. Тот Кнат, которого я привёл сюда, умрёт. Родится новый. Так всегда было, и так будет.

Он отпустил плечи Кната и отступил на шаг. Потом ещё на шаг. Потом повернулся и пошёл прочь — туда, откуда они пришли.

Кнат стоял и смотрел ему вслед. Сгорбленная фигура в меховой малице удалялась, растворяясь среди корявых стволов. Шаги Охота звучали всё тише, и вскоре их совсем поглотила тишина. Кнат остался один.

Впервые за восемь лет — один.

Он постоял немного, прислушиваясь к себе. Страх не было. Было странное, звенящее возбуждение, как перед прыжком в ледяную воду. Было чувство неотвратимости, сродни тому, что он испытал в детстве, когда увидел зелёное зарево над лесом. Тогда он знал, что Охот придёт. Теперь знал, что должен идти сам.

Он повернулся к Черте. Поваленные деревья лежали перед ним, как порог исполинского дома. Кнат нащупал амулет под одеждой, сжал его в кулаке — тёплый, живой. Потом набрал в грудь побольше морозного, пахнущего кровью и ладаном воздуха, и сделал первый шаг.

Перелезть через завал оказалось непросто. Стволы были скользкими от инея и кровисмолы, ветви цеплялись за одежду, а корни, торчащие во все стороны, норовили подставить подножку. Кнат карабкался, цепляясь за сучья, и каждый раз, когда его рука касалась мёртвого дерева, ему казалось, что он слышит далёкий, едва различимый стон. Не то дерево стонало, не то что-то под землёй. Наконец он спрыгнул на ту сторону — и замер.

Здесь было тепло. Не так, как у костра, а по-другому — воздух был влажным и густым, как в предбаннике летом. Снег под ногами отсутствовал вовсе; вместо него землю покрывал толстый слой серого мха, который при каждом шаге пружинил и вздыхал, выпуская облачка спор. Деревья вокруг действительно росли во все стороны сразу: одни вертикально, другие под углом, третьи почти горизонтально, переплетаясь стволами в живые арки и мосты. Кора на них была тёмная, почти чёрная, и по ней пробегали какие-то светящиеся полосы — не как у грибов, а скорее как разряды крошечных молний. В воздухе висел всё тот же сладковато-гнилостный запах, смешанный с чем-то новым — запахом озона, как после грозы.

Но самым странным было небо. Оно стало ближе. Гораздо ближе, чем должно быть. Тяжёлое, жёлто-серое, оно нависало над самыми верхушками деревьев, и Кнату казалось, что если подпрыгнуть, можно коснуться его рукой. По небу беззвучно катились тучи — не обычные, а какие-то рваные, лохматые, похожие на клочья грязной шерсти. Они двигались слишком быстро для такого низкого неба, и их тени скользили по земле, на мгновения погружая лес в полный мрак.

И тишина. Та самая, о которой говорил Охот. Абсолютная. Даже мох под ногами не шуршал, даже дыхание Кната не нарушало её — звук просто умирал, едва родившись, как будто воздух здесь был сделан из войлока. Кнат хлопнул в ладоши — экспериментируя. Хлопок получился глухим, коротким, и тут же осыпался, как сухая земля. Ни эха, ни отзвука. Тишина проглотила его.

— Вот я и здесь, — сказал он вслух, просто чтобы услышать собственный голос. Слова прозвучали тускло и сразу исчезли, будто их не было.

Он оглянулся. Черта за спиной была на месте — полоса бурелома, за которой маячили обычные, неискривленные деревья. Но что-то изменилось. Кнат прищурился и понял: Черта отодвинулась. Когда он перелезал через неё, она была сразу за поваленными соснами. Теперь же между ним и буреломом пролегло ещё шагов двадцать открытого пространства. Пустоземье не хотело отпускать его обратно. Оно втягивало в себя, как трясина.

Кнат постоял, собираясь с мыслями. Ему нужно было решить, куда идти. У Охота не было определённых указаний: просто «иди вглубь». Но куда именно? Он осмотрелся. Лес во все стороны выглядел одинаково — хаотичным, переплетённым, чужим. Однако чутьё, выработанное годами охоты, подсказывало: в центре должно быть что-то иное. Источник. Сердце. То, ради чего он здесь.

Он выбрал направление наугад — туда, где просвет между стволами казался чуть шире, — и зашагал вглубь Пустоземья. С каждым шагом воздух становился теплее и тяжелее. С каждым шагом тишина давила на уши всё сильнее. С каждым шагом Кнат всё острее чувствовал на себе чей-то взгляд — не враждебный и не дружеский, а просто изучающий, спокойный, бесконечно терпеливый. Он знал, что за ним наблюдают. Может быть, Хозяйка. Может быть, сама Тишина. Может быть, всё сразу.

Он шёл и не оглядывался. Сзади, там, за Чертой, остался Охот, который, возможно, всё ещё стоял и смотрел ему вслед. Осталось детство, отрочество, все восемь лет ученичества. Остался тот Кнат, который боялся темноты, плакал над мёртвым оленем и не хотел верить, что его тень может быть живой. Впереди было неизвестное. Три года одиночества. Три года борьбы с самим собой. Три года, которые либо убьют его, либо сделают тем, кем он должен стать.

Лес смыкался за ним — и раскрывался впереди. Тени, которые не были его собственной тенью, скользили между стволами. Где-то глубоко под землёй что-то ритмично пульсировало — как сердце. Небо набухало жёлтым, и в нём проступали прожилки — словно кто-то процарапывал их изнутри. А Кнат всё шёл и шёл, и с каждым шагом его фигура становилась меньше, теряясь в дышащем, живом, невозможном лесу.

До того момента, когда он встретит Могола, оставалось ещё несколько дней. Но встреча эта была предопределена, как предопределено всё в Пустоземье. Кнат пока не знал этого. Он просто шёл — вперёд, в сердце Тишины, которая обещала стать его учителем. Или могилой.

Амулет на его груди был тёплым. Но где-то в самой сердцевине камня уже зародилась первая, микроскопическая трещина. Пока незаметная. Но время в Пустоземье течёт иначе, и трёх лет может оказаться слишком много — или слишком мало.

Тишина сомкнулась за ним. И стала ждать.

Глава 5

Первый день в Пустоземье Кнат запомнил, как день великой тишины.

Он шёл, не разбирая дороги, просто вперёд — туда, где, как ему казалось, деревья расступались чуть шире. Но чем дальше он углублялся в чащу, тем яснее понимал: здесь нет направлений. Компас, который он носил в поясной сумке, давно обезумел — стрелка вращалась то влево, то вправо, иногда замирала в неестественных положениях, а однажды просто начала дрожать, как в лихорадке, и Кнат перестал на неё смотреть. Солнце, если оно ещё существовало за желтоватой пеленой неба, не показывалось вовсе — ровный, сумеречный свет лился отовсюду и ниоткуда одновременно, не давая теней. Мох под ногами был одинаково серым и дряблым во всех направлениях. Деревья, изогнутые и перекрученные, не имели ни северной, ни южной стороны — кора на них была покрыта светящимися полосами равномерно, со всех боков. Даже ветер, если он дул, не имел направления — он просто возникал, толкал в спину или в грудь и исчезал.

Кнат шёл час, другой, третий. Останавливался, прислушивался — ничего. Та же ватная тишина, что встретила его за Чертой. Сначала она казалась благословением после давящего звона преддверия, но теперь начинала пугать иначе — своей полнотой. Тишина здесь была не отсутствием звуков, а присутствием чего-то иного. Она стояла в ушах, как вода в перевернутом кувшине, и в ней, если сосредоточиться, начинали проступать странные вещи: очень низкий, почти телесный гул, похожий на биение далёкого сердца, и шорох, похожий на дыхание, и ещё что-то, чему вовсе не было названия — движение огромных масс где-то за гранью восприятия. Кнат тряс головой, и гул исчезал — но потом возвращался, медленно, неотвратно, как прибывающая вода.

К вечеру (он определил это по усталости, а не по свету — свет не менялся) Кнат начал искать место для ночлега. В обычном лесу он выбрал бы густую ель, под которой меньше снега, развёл бы костёр, наломал лапника. Здесь не было ни елей, ни снега — только искорёженные лиственные деревья неизвестных пород да вездесущий серый мох. Он попробовал наломать веток — древесина оказалась влажной, губчатой и странно тёплой на ощупь, как кожа живого существа. Нож входил в неё с трудом, волокна не резались, а мялись, и из порезов сочился мутный, зеленоватый сок, пахнувший болотом. Кнат решил не связываться с неизвестным деревом и поискал валежник. Его не было. Вообще. Ни единой сухой ветки, ни единого упавшего ствола — весь лес был живым, непонятно живым, и ничего мёртвого он, казалось, не отдавал.

Тогда Кнат просто выбрал место между двумя переплетёнными корнями, образующими что-то вроде неглубокой ниши, устелил дно мхом, завернулся в плащ и сел, привалившись спиной к древесному стволу. Костёр развести не удалось — трут не горел. Не то чтобы он был сырым, нет: искры кресала летели исправно, но, попадая на трут, гасли мгновенно, как будто их задували невидимые губы. Кнат попробовал снова и снова — бесполезно. Огонь не жил в Пустоземье. Пришлось смириться.

Он сидел в темноте — темнота здесь, кстати, была настоящей, глубокой, потому что светящиеся полосы на деревьях с наступлением ночи тускнели и гасли, — и прислушивался к своему телу. Хотелось есть. Последний раз он ел вчера, на привале перед Чертой: сушёная оленина, немного ягод, глоток воды. Сейчас желудок уже напоминал о себе глухим, ноющим спазмом. Кнат достал из котомки остатки мяса — небольшой кусок, с ладонь размером, — и съел половину. Вторую половину спрятал. Нужно растянуть припасы. Он не знал, сколько времени ему понадобится, чтобы найти еду здесь, но подозревал, что быстро не выйдет.

Ночь прошла без сна. Кнат лежал с открытыми глазами, вглядываясь в темноту, и слушал. Тишина давила, но ещё сильнее давило чувство, знакомое любому охотнику, — чувство, что за тобой наблюдают. Он ощущал взгляд — не глазами, а затылком, кожей, волосками на руках.

Кто-то был рядом. Не приближался, но и не уходил. Стоял на границе видимости и смотрел. Кнат несколько раз резко оборачивался, но видел только тьму и смутные очертания переплетённых ветвей. Тогда он вспомнил уроки Охота: чтобы увидеть скрытое, нужно не всматриваться, а расфокусировать зрение. Он попробовал — и по спине пробежал холод. Между деревьями, там, куда не доставал прямой взгляд, двигались тени. Не духи — что-то более плотное, с неясными, но различимыми формами. Крупный зверь? Или несколько? Они перемещались бесшумно, не задевая ветвей, и их движения были плавными, как у рыб в толще воды. Кнат не мог разглядеть их, но знал: они здесь. Они кружат вокруг его убежища, не решаясь подойти, но и не собираясь уходить. Тогда он сжал в руке амулет — тот был тёплым, живым, — и начал тихо, одними губами, читать охранительный наговор, которому научил его Охот. Тени замерли. Потом медленно, нехотя отступили во тьму.

Утром (он определил это по тому, что светящиеся полосы на коре снова начали разгортаться) Кнат первым делом проверил припасы. Кусок мяса был на месте. Котомка цела. Следов вокруг ночлега он не нашёл — ни звериных, ни человеческих, — хотя мох должен был сохранять отпечатки. Это было странно и неприятно. Он двинулся дальше.

Второй день стал днём поисков. Кнат шёл медленнее, осматриваясь. Он искал что-нибудь съедобное: грибы, ягоды, орехи. Лес Пустоземья был богат растительностью, но вся она была чужой, неизвестной. Грибы попадались часто — те самые, светящиеся, с бледными шляпками, — но Кнат знал, что светящиеся грибы ядовиты, по крайней мере в обычном мире. Он не рискнул их трогать. Ягоды тоже нашлись: мелкие, чёрные, растущие гроздьями на колючих кустах. Внешне они напоминали черёмуху, но запаха не имели. Кнат сорвал несколько, растёр в пальцах — сок был прозрачный, без цвета. Осторожно лизнул. Никакого вкуса. Вообще. Как вода, только гуще. Он подождал немного — жжения на языке не было, тошнота не подступала. Тогда он съел целую горсть. Ничего не произошло. Голод не утих, но и хуже не стало. Кнат нарвал ягод побольше, сложил в котомку и пошёл дальше.

К середине дня он набрёл на ручей. Тонкая струйка тёмной воды сочилась из трещины в земле и тут же исчезала во мху. Кнат наклонился, зачерпнул ладонью — вода была холодной и пахла ржавчиной. Он сделал глоток и тут же выплюнул: вкус был отвратительный, солёно-горький, с металлическим послевкусием. Пить эту воду было нельзя. Он поплёлся дальше.

К вечеру второго дня голод стал ощутимым. Не острым, но постоянным, грызущим. Сушёное мясо закончилось. Ягоды, которыми он пытался набить желудок, не давали ничего — ни сытости, ни сил. Они были как трава, только мягче. Кнат начал понимать, что такое настоящий голод. Не тот, что бывает между обедом и ужином, а другой — глубинный, первобытный, когда тело начинает пожирать само себя. Он чувствовал, как слабеют мышцы, как холодеют конечности, как мысли в голове замедляются, становятся тягучими, липкими. Лес вокруг переставал быть просто чужим — он становился враждебным. Не агрессивным, но равнодушным. Огромным, равнодушным организмом, которому нет дела до какого-то мальчишки, забредшего в его нутро.

На третий день Кнат понял, что если не найдёт настоящей еды, то умрёт.

Он никогда не был в таком положении. Охот учил его выживать, но выживание всегда предполагало наличие добычи: зверя, птицы, рыбы. В Пустоземье звери были, но какие-то не такие. Пару раз Кнат замечал движение в подлеске — мелькание серой шкуры, блеск глаз, — но каждый раз, когда он тянулся к ножу, зверь исчезал. Не убегал — именно исчезал, растворялся в воздухе, будто его и не было. Птиц он не видел, но слышал — иногда сверху доносился хлопанье крыльев, но, подняв голову, он видел только переплетённые ветви и жёлтое небо. Рыбы в ручьях не водилось — он проверял несколько раз, заходя в ледяную воду по колено и шаря руками под корягами. Пусто.

К концу третьего дня отчаяние начало подступать к горлу. Кнат сидел под искривлённым деревом, обхватив колени руками, и пытался мыслить трезво. Он знал, что голод — это не

только физическая мука. Это испытание для разума. Охот предупреждал: «В Пустоземье ты будешь голодать. Не только желудком, но и душой. Держись. Первая неделя — самая страшная. Потом тело привыкнет. А душа... душа должна научиться питаться иначе». Что это значило — «питаться иначе»? Кнат не понимал. Может быть, имелась в виду магия? Он знал некоторые ритуалы, позволяющие черпать силу из земли, из ветра, из огня. Но огня здесь не было. Ветер был непредсказуем. Земля...

Он вспомнил ручей, который пах ржавчиной. Вкус его воды был отвратителен, но что, если в нём есть что-то ещё? Кнат поднялся и, шатаясь, пошёл обратно — к тому месту, где нашёл его накануне. Ручей всё так же сочился из трещины. Он опустился на колени и снова зачерпнул воду. Запах был всё тот же — металлический, с оттенком гнили. Но теперь он ощущал в нём и знакомый ладанный дух — тот самый, который сопровождал Охота и который пропитывал воздух у капищ. Кровь земли. Охот давал ему такую воду на пути сюда — горячую, пахнущую тухлыми яйцами. Та вода дала ему силы. Может быть, эта — тоже?

Он заставил себя сделать глоток. Вода обожгла горло, но не теплом, а холодом — ледяным, пронизывающим до костей. Кната передёрнуло. Потом холод сменился теплом, разливающимся по жилам, и в голове немного прояснилось. Он сделал ещё глоток, потом ещё. Пил, пока не почувствовал, как желудок наполняется тяжестью. Вкуса он почти не ощущал — только жжение и холод попеременно. Потом его вырвало — резко, мучительно, жёлтой желчью с примесью слизи. Кнат упал на бок, скорчившись на мху, и долго лежал, обессиленный. Когда приступ прошёл, он почувствовал странную лёгкость. Голод не исчез, но отступил. Словно вода не накормила его, а заняла место голода внутри, вытеснив его чем-то иным. Чувство было неестественным, тревожным, но выбирать не приходилось. Он напился ещё раз — осторожно, маленькими глотками, — и на этот раз организм принял воду спокойно. Кровь земли вошла в него и осталась.

Остаток дня Кнат провёл в полузабытьи. Он сидел, привалившись к дереву, и смотрел перед собой невидящими глазами. Перед ним проплывали картины: лицо матери, залитое слезами; фигура Охота, удаляющаяся среди стволов; нож с костяной рукоятью; олень, умирающий на жертвенном камне. Все образы были яркими, почти галлюцинаторными, и каждый из них сопровождался чувством — острым, болезненным, как укол. Он перебирал их в уме, не пытаясь отогнать. Охот говорил: «Не убегай от воспоминаний. Они — пища для души». Теперь он начинал понимать. Воспоминания были единственным, что связывало его с миром людей. С миром, где была еда, тепло, голоса. И сейчас, в этой давящей тишине, они были единственным утешением. Или единственной мукой. Он не мог разобраться.

Ночью ему приснился сон — первый сон в Пустоземье. Ему снилось, что он снова дома, в Белых Камнях. Зима, мороз, из труб валит дым. Он стоит у околицы и видит: из леса выходит его мать. Она идёт босая по снегу, но не мёрзнет. Лицо у неё спокойное, даже радостное. Она протягивает к нему руки, манит: «Иди ко мне, сынок. Хватит мучиться. Идём домой». Кнат делает шаг навстречу — и вдруг замечает, что следы её на снегу не человеческие. Раздвоенные копытца. Он замирает. Мать улыбается шире, и улыбка её расплывается до ушей, и зубы во рту — не человеческие, а мелкие, острые, как у щуки. «Иди, — шепчет она, а голос её становится низким, утробным, — иди, я тебя согрею». И в этот миг амулет на его груди вспыхивает жаром. Кнат просыпается в холодном поту.

Он лежал в темноте и тяжело дышал. Сердце колотилось. Амулет был горячим — почти обжигал кожу. Он схватился за него и почувствовал, как жар медленно спадает. Сон был не просто сном. Это был морок. Кто-то или что-то пыталось заманить его, выманить из убежища, увести в чащу. Дух? Или сама Хозяйка? Или его собственный разум, ослабленный голодом, начал играть с ним злые шутки? Кнат не знал. Он сел, обхватил колени руками и просидел так до рассвета, не смыкая глаз. Спать больше не хотелось.

На четвёртый день он решил охотиться всерьёз. Припасы кончились, ягоды и вода из ручья только притупляли голод, но не давали сил. Нужна была плоть. Кровь. Жизнь. Он выбрал место у небольшого бочажка — единственного источника воды, который нашёл за эти дни, — и затаился. Сидеть пришлось долго, но в конце концов удача улыбнулась: на водопой вышел зверь.

Сперва Кнат не понял, что это такое. Небольшое, с собаку размером, существо выскользнуло из подлеска бесшумно, как тень. Оно было покрыто короткой серой шерстью, имело длинное гибкое тело и короткие лапы. Голова была треугольной, с маленькими, плотно прижатыми ушами и глазами, которые казались непропорционально большими и горели зеленоватым светом — не отражённым, а собственным. Зверь двигался плавно, перетекая с места на место, и от него исходило то самое чувство «чужеродности», которое пропитывало весь лес. Кнат замер, зажав нож в руке. Он знал, что второго шанса может не быть. Дождался, пока зверь наклонится к воде, и метнулся вперёд.

Он был быстр — Охот хорошо натаскал его в боевых искусствах, — но зверь оказался быстрее. В последний миг он отскочил в сторону, и нож рассёк воздух. Кнат кувыркнулся, уходя от возможной контратаки, но зверь не атаковал. Он стоял поодаль и смотрел. Смотрел совершенно осмысленно, склонив голову набок. В его глазах-огоньках было нечто большее, чем звериный инстинкт. Любопытство. Оценка. И ещё что-то, похожее на насмешку. Кнат снова бросился — и снова промахнулся. Зверь отпрыгнул на несколько шагов, сел и начал вылизывать лапу, всем видом показывая, что охота ему неинтересна.

— Да что ты такое? — выдохнул Кнат, опуская нож. Он тяжело дышал. Силы таяли с каждым движением.

Зверь перестал вылизываться, поднял голову и посмотрел прямо в глаза Кнату. Взгляд его был долгим, изучающим. Потом он развернулся и, не торопясь, потрусил в чащу. У самой кромки леса он остановился и оглянулся — явно проверяя, идёт ли человек следом. Приглашение? Или ловушка? Кнат колебался. Но голод гнал его вперёд. Он двинулся за зверем.

Зверь вёл его долго — петляя, огибая какие-то невидимые границы. Они прошли через поляну, усеянную теми самыми светящимися грибами, и Кнат заметил, что грибы здесь не светятся — они были мёртвыми, сморщенными, как старые поганки. Прошли через овраг, на дне которого лежали кости — крупные, может быть, лосиные, а может, и нет. Кнат не стал присматриваться. Наконец зверь вывел его к месту, которое Кнат сразу узнал, хотя никогда здесь не был. Такие места описывал ему Охот. Ловушка. Западня.

Это была круглая котловина, окружённая плотным кольцом переплетённых деревьев. Посреди неё лежало нечто. Тело. Большое, покрытое бурой шерстью, с вывернутыми конечностями. Медведь? Или что-то, похожее на медведя. Он был мёртв уже несколько дней — шерсть начала выпадать клоками, обнажая тёмную, вздутую кожу. Запах разложения стоял тяжёлый, сладковато-приторный. Кнат почувствовал, как желудок скручивает спазм — от голода и отвращения одновременно. Зверь-проводник стоял на краю котловины и смотрел то на Кната, то на труп. Потом сел и начал терпеливо ждать.

Кнат понял. Ему предлагали есть падаль. Мясо, которое неизвестно сколько пролежало в тепле и сырости, которое, возможно, было отравлено или заражено. Но другого не было. Вообще. Он стоял и смотрел на раздутое тело, и в голове его боролись инстинкты: голод требовал броситься и рвать зубами тёплое, пусть и начавшее портиться мясо; разум кричал об опасности; а где-то глубоко, на самом дне души, поднималась волна унижения. Он — ученик великого шамана, он, прошедший восемь лет обучения, он, кому духи предрекли великое будущее, — должен питаться падалью, как шакал? В этом было что-то неправильное. Не просто жестокое, а ритуально оскорбительное.

Он повернулся к зверю. Тот всё так же сидел и смотрел.

— Ты привёл меня сюда, чтобы я это съел? — спросил Кнат. Голос прозвучал глухо, сипло.

Зверь ничего не ответил, но в его глазах Кнату почудился тот самый, невозможный для животного ответ: «Да. А что, есть выбор?»

Кнат постоял ещё немного. Потом подошёл к туше. Запах ударил в ноздри, и его едва не вывернуло снова. Но он пересилил себя, достал нож и начал срезать куски мяса с того бока, который меньше пострадал от разложения. Мясо было тёмным, рыхлым, истекало мутным соком. Он старался не думать о том, что именно режет. Просто работал — быстро, механически, как учили. Нарезал несколько полос, завернул в большой лист неизвестного растения, сорванный поблизости. Потом отошёл подальше от туши, к краю котловины, и попытался развести огонь. Огниво снова не дало результата — трут не занимался. Тогда он просто взял кусок мяса и поднёс ко рту.

Первый укус был самым трудным. Мясо оказалось не таким отвратительным на вкус, как он боялся, — скорее пресным, с лёгким привкусом гнили. Но желудок принял его с благодарностью. Кнат жевал, давясь и заставляя себя глотать, и с каждым глотком чувствовал, как в тело возвращается сила. Не та, что даёт обычная еда, а другая — грубая, тёмная, животная сила, замешанная на унижении и отчаянии. Он ел и смотрел на зверя, который привёл его сюда. Тот сидел неподвижно, наблюдая. И в его глазах Кнат прочитал что-то похожее на одобрение. Или на подтверждение. Первый урок Пустоземья был усвоен: здесь ты — не охотник. Здесь ты — падальщик. Прими это. Или умри.

Он съел, сколько смог, завернул остатки в листья и спрятал в котомку. Зверь к тому времени исчез — так же незаметно, как появился. Кнат остался один. Он сидел на краю котловины, глядя на разлагающуюся тушу, и чувствовал, как внутри него что-то меняется. Не в магическом смысле — в человеческом. Он переступил ещё одну черту. И она была горше, чем убийство оленя. То было жертвоприношение, ритуал. А это — просто грязь. Просто выживание. Просто падение.

Он поднялся и пошёл дальше. Нужно было найти более безопасное место для ночлега — подальше от падали, которая могла привлечь других падальщиков. Двигался он теперь легче: мясо, пусть и тухлое, дало энергию. Но вместе с энергией пришла и новая, мрачная ясность. Он понял, что Пустоземье будет ломать его именно так — через унижение, через голод, через одиночество. Оно будет отнимать у него всё человеческое, шаг за шагом, пока не останется только голая воля к жизни. А потом — может быть — оно даст что-то взамен.

День клонился к вечеру, когда он набрёл на место, которое показалось ему подходящим для лагеря. Небольшая возвышенность, поросшая теми же искорёженными деревьями, но здесь они росли реже, и между стволами можно было разглядеть небо. Кнат уже собирался устроиться на ночлег, как вдруг заметил нечто, заставившее его замереть.

На одном из деревьев, на толстом суку, висела птица. Ворон. Крупный, тяжелее обычных воронов, с перьями, отливающими в сумеречном свете синевой. Он сидел неподвижно, как чучело, и смотрел прямо на Кната. Кнат смотрел в ответ. Ворон не улетал. Не шевелился. Даже не моргал. Его глаз — круглый, чёрный, без белков — был устремлён на человека с той же осмысленностью, которую Кнат уже видел у зверя-проводника.

— Что тебе нужно? — спросил Кнат. Он не ждал ответа — просто сказал вслух, чтобы нарушить тишину.

Ворон склонил голову набок. Потом открыл клюв и издал звук. Это не было карканье. Это был человеческий голос — глухой, скрипучий, как старая дверь, но совершенно разборчивый. Ворон произнёс:

— Убей меня, и останешься совсем один.

Кнат почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Это было не эхо и не галлюцинация. Звук исходил из клюва птицы. Он повторил свои собственные слова, которые мысленно произнёс несколько секунд назад. Мысленно. Не вслух. Ворон повторил их.

— Ты... читаешь мысли? — прошептал Кнат.

Ворон снова склонил голову, но на этот раз ничего не сказал. Он просто сидел и смотрел. Кнат стоял, парализованный, не зная, что делать. Бежать? Атаковать? Ответить? Наконец он взял себя в руки, сделал глубокий вдох и сказал, стараясь, чтобы голос не дрожал:

— Кто ты?

Ворон помедлил. Затем снова открыл клюв. На этот раз его голос прозвучал иначе — ниже, глубже, и в нём послышались интонации, отдалённо напоминающие интонации Охота.

— Я — тот, кто будет с тобой, когда больше никого не будет. Я — твой проводник и твой тюремщик. Я — голос, который ты услышишь в тишине. Я — Могол. И я ждал тебя.

Он замолчал. Тишина сомкнулась снова, но теперь она была другой — не пустой, а наполненной присутствием. Кнат смотрел на ворона, и в душе его боролись страх, облегчение и странное, горькое чувство узнавания. Он не был один. В Пустоземье у него теперь был спутник. Но спутник этот был соткан из тьмы и насмешки, и его помощь, Кнат это сразу понял, будет стоить дороже, чем любое одиночество.

— Что тебе от меня нужно? — спросил он наконец.

Могол вспорхнул и перелетел на ветку повыше, так что его силуэт оказался прямо над головой Кната, на фоне желтоватого неба.

— Мне? Ничего, — проскрипел он. — А вот тебе от меня — многое. Но не сейчас. Сейчас ты слишком слаб и глуп. Ешь свою падаль, пей кровь земли, учись видеть. Когда станешь готов, я начну говорить. А пока — я буду смотреть. И ждать.

С этими словами он снялся с ветки и, не издав ни звука — ни хлопка крыльев, ни крика, — улетел в сгущающиеся сумерки. Кнат остался один. Но теперь одиночество его было иным. У него появился наблюдатель. И собеседник. И, возможно, враг, прикинувшийся другом.

Он развёл руками, словно пытаясь стряхнуть с себя оцепенение, и начал готовить ночлег. Ночь обещала быть долгой. Но впервые за несколько дней Кнат почувствовал нечто похожее на азарт. Пустоземье заговорило с ним. Пусть голосом ворона. Пусть словами, от которых стыла кровь. Но заговорило.

Глава 6

Дни в Пустоземье не имели числа. Кнат перестал считать их уже на второй неделе — или на третьей? Он не мог бы сказать точно, потому что солнце не восходило и не заходило, а лишь угадывалось за плотной желтоватой пеленой как размытое пятно, которое то тускнело, то разгоралось вновь, но никогда не исчезало совсем. Он ориентировался по голоду: когда голод становился невыносимым, он знал, что прошло много времени. Когда голод отступал, притуплённый глотком ржавой воды или куском полусгнившего мяса, — значит, миновал ещё один отрезок, ещё один шаг к неведомой цели.

Тело его менялось. Ребра, ещё недавно скрытые под слоем юношеских мышц, теперь проступали отчетливо, как обручи на бочке. Кожа, некогда смуглая и гладкая, стала бледной и шершавой, покрылась мелкими язвочками от укусов невидимых насекомых, которые роились в сыром воздухе. Волосы свалились в колтуны, ногти обломались. От него пахло болотом, падалью и потом — кислым, резким запахом, который самому ему казался чужим. Он не узнавал собственное тело. Оно больше не принадлежало тому мальчику, что когда-то собирал ягоды у ручья и боялся темноты. Теперь это был инструмент — грубый, изношенный, но всё ещё функционирующий. И Кнат заставлял его функционировать с упрямством, граничащим с безумием.

Но гораздо страшнее телесных изменений были изменения внутри. Тишина Пустоземья делала своё дело. Она проникала в уши, в поры, в мысли, заполняла всё пространство между ними, разбухала, как губка, и вытесняла прочь всё, что составляло человеческую суть. Кнат ловил себя на том, что подолгу стоит, уставившись в одну точку, и не может вспомнить, о чём думал секунду назад. Иногда он начинал говорить сам с собой — просто чтобы услышать хоть какой-то звук, — но слова выходили плоскими, мёртвыми, и он умолкал на полуслове. Иногда ему казалось, что он забывает родной язык. Слова становились чужими, тяжёлыми, как камни, которые лень ворочать. Он пробовал вспоминать названия вещей: дерево, мох, небо, мать... Мать. Вот слово, которое ещё хранило тепло. Он цеплялся за него, как за уголёк в остывшей золе, боясь, что и оно исчезнет.

И тогда начались видения.

Сперва Кнат принимал их за игру воображения — обычные грёзы, какие бывают у всякого, кто долго лишён общества людей и нормальной пищи. Ему мерещились тени между деревьями, знакомые лица в переплетении ветвей, голоса, которые окликали его по имени из глубины чащи. Он тряс головой, и видения исчезали. Но с каждым днём они становились всё ярче, всё настойчивее. Тени обретали плоть. Лица становились узнаваемыми. Голоса звучали громче и ближе, и в них уже слышались родные интонации.

Однажды — а может, это был сон, Кнат не мог отличить яви от дрёмы — он увидел бабу. Старая знахарка, умершая восемь лет назад, стояла на краю поляны в своём неизменном тёмном платке, ссутулившись и опираясь на клюку. Она смотрела на Кната из-под кустистых бровей и улыбалась — той самой печальной, знающей улыбкой, которую он запомнил навсегда. «Не бойся, — сказала она беззвучно, одними губами. — Это ещё не за тобой. Пока не за тобой». Видение растаяло, но слова остались. Они крутились в голове, как заезженная мелодия, и Кнат не мог от них избавиться.

В другой раз он увидел отца. Тот стоял по колено в тумане, держа в руках топор, и смотрел на сына исподлобья. Лицо его было серым и безжизненным, как в то утро, когда Охот уводил Кната из дома. «Вернись, — сказал отец хрипло. — Всё можно исправить. Я заплачу, сколько скажут. Только вернись». И Кнат, забывшись, сделал шаг вперёд — но наступил на сухую ветку, которая предательски хрустнула, и наводнение разбилось вдребезги.

После этого он стал осторожнее. Он помнил предупреждение Охота: «В Пустоземье ты встретишь всё, что прячется в твоей душе. Всех демонов, все страхи, всю тьму. Они обретут плоть и будут говорить с тобой». Значит, эти видения — не просто сны и не просто игра ума. Это ловушки. И нужно уметь отличать истинное от ложного, иначе пропадёшь.

Но как отличить, когда сам лес вокруг — одно большое наваждение?

Он продолжал идти, потому что остановка означала смерть. Еды почти не осталось. Последний кусок падали, добытой у медвежьей туши, он доел накануне и теперь снова был пуст. Ягоды, лишённые вкуса и питательности, давно кончились — кусты, на которых они росли, остались позади, а новые не попадались. Вода из ручьёв лишь разжигала жажду и вызывала спазмы в животе. Кровь земли, как называл её Охот, была единственным, что поддерживало его силы, но и она действовала всё слабее. Кнат чувствовал, как его покидает не просто энергия — его покидает воля. Медленно, по капле, как вода из треснувшего кувшина.

Именно тогда, на грани полного истощения, когда он уже начал подумывать о том, не лечь ли прямо здесь, на мягкий мох, и не закрыть ли глаза навсегда, — он увидел её.

Она стояла на тропе впереди. Не на обочине, не среди деревьев, а прямо на его пути, как будто ждала. Мать. Дарья. В своём старом овчинном полушубке, подпоясанном верёвкой, в сером платке, низко надвинутом на лоб. Лицо её было таким, каким Кнат запомнил его в детстве: молодое, с мягкими округлыми щеками и мелкими морщинками у глаз. Она не выглядела испуганной или заплаканной, как в день его ухода. Напротив, она улыбалась — тепло, приветливо, как улыбаются, встречая дорогого гостя.

— Сынок, — позвала она, и голос её был точь-в-точь как в детстве: грудной, низковатый, с лёгкой хрипотцой. — Сыночек, вот ты где. А я тебя обыскалась.

Кнат замер. Сердце, до этого бившееся вяло и тускло, вдруг заколотилось с неожиданной силой. В висках застучало. Перед глазами поплыли круги. Он знал — знал же, — что этого не может быть. Мать осталась в Белых Камнях, в двух неделях пути отсюда, а может, и в другом времени — кто разберёт, как течёт время в Пустоземье? Она не могла пройти через чащу, не могла пересечь Черту, не могла выжить здесь, в этом проклятом месте, где всё дышит ядом. Но она стояла. И улыбалась. И звала его.

— Мама? — прошептал он пересохшими губами. Слово получилось жалким, детским. Он сам не узнал собственного голоса.

— Я, родной, я, — отозвалась она и шагнула ближе. — Как же ты исхудал, господи... Где ты был? Что с тобой сделали? Идём, идём скорее. Я тут недалеко избу нашла, тёплую, с печкой. Щей наварила, хлеба напекла. Идём, отдохнёшь, поешь...

Её слова текли, как мёд, тёплые, обволакивающие. Они обещали то, чего Кнат хотел больше всего на свете: покой, сытость, ласку. Простые человеческие радости, которые он уже почти забыл. У него защипало в глазах. Он сморгнул и почувствовал, как по щеке катится слеза — горячая, обжигающая воспалённую кожу.

— Нет, — сказал он вслух, но голос прозвучал неуверенно. — Этого не может быть. Ты — морок.

Мать покачала головой, и в этом жесте было столько знакомого, столько привычного, что сердце сжалось сильнее.

— Какой же морок? — ответила она с лёгкой укоризной. — Ты же меня знаешь. Я тебя под сердцем носила, ночей не спала, когда ты кричал во сне. Помнишь, как ты боялся темноты, и я тебе пела? «Спи, дитяtko, усни, сладкий сон к себе мани...»

Она начала напевать, и мелодия была та самая, которую Кнат не слышал много лет, но помнил каждой клеточкой тела. Колыбельная. Та, что мать пела ему в младенчестве, а потом, когда он стал старше, уже не пела — стеснялась, наверное, или считала, что он вырос. Но он помнил. И сейчас, услышав её снова, он почувствовал, как внутри что-то ломается. Стена,

которую он так старательно возводил все эти дни, — стена рациональности, осторожности, выучки, — дала трещину.

— Мама... — повторил он уже не протестуя, а жалобно, почти умоляюще.

— Иди, — она протянула руку. Ладонь была раскрыта, и на ней Кнат разглядел знакомую родинку у большого пальца. Он помнил эту родинку. Он держался за эту руку, когда учился ходить. Он прятал в эту ладонь своё лицо, когда было страшно. Он не мог не узнать её. Это была его мать. Настоящая.

Он шагнул вперёд.

Мать улыбнулась шире — и вдруг повернулась и пошла прочь, в сторону от тропы, туда, где лес становился реже и просвечивал тусклым желтоватым светом. Она не оглядывалась, но Кнат знал: нужно идти за ней. И он пошёл. Сначала неуверенно, спотыкаясь, потом быстрее, почти побежал, стараясь не упустить из виду серый платок, мелькавший между стволами. Ветви хлестали его по лицу, ноги путались во мху, но он не обращал внимания. Всё его существо сосредоточилось на одной цели: догнать. Догнать и больше не терять.

— Подожди! — крикнул он. — Мама, подожди, я не успеваю!

Она не останавливалась, но и не ускоряла шаг. Шла ровно, плавно, как-то неестественно легко для немолодой уже женщины. Кнату это показалось странным, но мысли путались, и он отогнал сомнение прочь. Он слишком устал, чтобы анализировать. Ему нужно было просто идти. И он шёл.

Лес вокруг начал меняться. Деревья становились ниже, корявее, их стволы покрывались белесым лишайником, похожим на паршу. Земля под ногами стала мягче, влажнее, и вскоре Кнат заметил, что мох уже не пружинит, а чавкает, как губка, пропитанная водой. Воздух потяжелел, напитался запахом гнили и тины. Где-то впереди, за пеленой тумана, угадывалось открытое пространство — не то поляна, не то болото. Мать шла прямо туда, и её фигура уже наполовину скрылась в белёсой дымке.

— Стой! — крикнул Кнат, но она не остановилась. Он рванул за ней и тут краем глаза заметил что-то, отчего сердце оборвалось и рухнуло куда-то в желудок.

Следы. На влажном мху отчётливо отпечатывались её ступни — но это были не человеческие следы. Не отпечатки сапог или лаптей. Это были раздвоенные копытца. Маленькие, аккуратные, как у косули. Они тянулись цепочкой туда, где только что прошла его мать.

Кнат застыл как вкопанный. Пелена спала с глаз мгновенно, как будто его окатили ледяной водой. Он увидел то, что должен был заметить с самого начала: платок, который не колыбался на ветру; руки, которые не оставляли следов на ветвях, когда она их раздвигала; голос, который звучал чуть громче, чем нужно, и с лёгким эхом, как в пустой избе. И глаза — он вспомнил, что мать ни разу не моргнула. Ни разу.

— Морок, — прошептал он, и на этот раз слово прозвучало как приговор. — Леший...

Фигура впереди остановилась. Медленно, очень медленно она повернулась. Платок упал с головы, открывая лицо — и это было всё ещё лицо его матери, но искажённое, текучее, как отражение в подёрнутой рябью воде. Рот растянулся до ушей в невозможной, звериной усмешке, и зубы — мелкие, острые, как у щуки, — блеснули в сумеречном свете. Глаза вспыхнули зеленою, точь-в-точь как у тварей, что кружили вокруг его ночлега в первые дни.

— Опоздал, — произнесло существо голосом, в котором материнские интонации смешались с низким, утробным рыком. — А ведь почти получилось. Ты бы сам пришёл. Сам бы лёг.

И прежде чем Кнат успел что-либо сделать — отшатнуться, выхватить нож, закричать, — земля у него под ногами ушла вниз. Мох провалился, и он рухнул в ледяную воду.

Болото. Оно скрывалось под тонким слоем растительности, невидимое и коварное. Чёрная, густая, как дёготь, жижа сомкнулась над головой Кната, заливая уши, нос, рот. Он хлебнул воды — она была солёной и вязкой, с привкусом разложения, — и закашлялся, но кашель только впустил новую порцию внутрь. Холод сковал тело мгновенно, пронзил до костей, пара-

лизовал мышцы. Кнат бился, пытаясь нащупать дно ногами, но дна не было — только бездонная топь, которая засасывала его всё глубже.

Паника — слепая, животная — захлестнула сознание. Он рванулся изо всех сил, но движения только ухудшали положение: трясина, потревоженная, стала засасывать быстрее, как голодный зверь, дорвавшийся до добычи. Кнат чувствовал, как его тянет вниз, как вода смыкается над плечами, над подбородком. Он задрал голову, пытаясь удержать рот над поверхностью, но жижа была повсюду, она облепляла лицо, затекала в ноздри, в уши. Вкус её был отвратителен — гниль, ржавчина, сладковатый яд. Перед глазами плыли багровые круги.

«Вот так я и умру», — мелькнула мысль, спокойная и отстранённая, как будто принадлежащая не ему. Умру не в бою, не от голода, не на жертвенном камне, а в болоте, засосанный лешачьим мороком. Глупо. Постыдно. Но в этой мысли не было ни горечи, ни отчаяния — только усталость. Бесконечная, всепоглощающая усталость. Может быть, так даже лучше. Может быть, покой — это не самое страшное. Может быть, мать и правда ждёт его где-то там, за гранью...

И тогда амулет вспыхнул.

Он не просто нагрелся — он засиял. Кнат ощутил это не кожей, а чем-то более глубинным, словно внутри грудной клетки взорвалась маленькая звезда. Жар разлился по телу стремительной волной, смывая оцепенение, выжигая яд, проникший в кровь. Боль была ослепительной, но в ней была жизнь — чистая, яростная, неукротимая жизнь, которая не желала сдаваться. Кнат закричал — вернее, попытался, из горла вырвался только булькающий хрип, — и рванулся вверх с силой, которой сам от себя не ожидал.

Что-то подхватило его снизу. Не физическая сила, не подводный ключ, а та самая энергия, что исходила из амулета. Она словно вытолкнула его из трясины, как пробку из бутылки. Кнат взлетел над поверхностью, успев вдохнуть спёртый, но живительный воздух, и рухнул на край твёрдой кочки, вцепился руками в мох, в корни, во что попало. Ноги всё ещё были в воде, но тело уже лежало на относительно твёрдой земле. Он подтянулся, перекатился, отполз на несколько шагов и рухнул лицом в мох, хватая ртом воздух, кашляя, извергая из лёгких чёрную жижу.

Он лежал так долго — может быть, минуты, может быть, часы. Сердце колотилось где-то в горле, тело била крупная дрожь, в ушах звенело. Но он был жив. Жив. Это слово пульсировало в голове, как набат. Жив, жив, жив.

Когда дрожь немного унялась, и он смог приподняться, первым делом он схватился за амулет. Тот был ещё тёплым, но жар уже спадал. Кнат поднёс его к глазам и сквозь муть, застилавшую зрение, разглядел: на гладкой поверхности камня появилась трещина. Тонкая, как волос, но заметная. Она пересекала камень от края к центру и на свету — тусклом, желтоватом — казалась наполненной тьмой. Кнат смотрел на неё и понимал: амулет спас его, но заплатил за это частицей себя. Каждая такая защита будет стоить камню всё новых трещин. Когда они покроют его целиком, амулет рассыплется. И тогда он останется один на один с Пустоземьем. Без защиты. Без щита.

Он бережно убрал амулет под одежду, туда, где тот лежал всегда — у самого сердца, — и огляделся. Болото, в которое он едва не угодил, расстилось перед ним: обширное пространство стоячей воды, покрытой зелёной ряской, с редкими кочками и чахлыми деревцами. Посреди этого пейзажа, в отдалении, на одной из кочек, стояло нечто. Не человек. Не зверь. Нечто среднее — сгорбленная, мохнатая фигура с длинными руками и рогатой головой, наполовину скрытая туманом. Она смотрела на Кната, и в её глазах — он был уверен — горела всё та же зеленоватая искра. Потом фигура медленно, словно нехотя, повернулась и исчезла в тумане. Болото сомкнулось за ней.

Кнат выдохнул. Леший. Или кто-то из его присных — мелкий болотный дух, питающийся страхом и отчаянием. Он пытался заманить его в трясины, используя самый сильный образ, какой только мог отыскать в его памяти. И почти преуспел. Если бы не амулет...

— Ты проиграл, — прохрипел Кнат в пустоту. Голос был слабым, сиплым, но в нём слышалась твёрдость. — Слышишь? Я жив. И я вернусь. Я тебя запомнил.

Ответа не было, только ветер — первый раз за долгое время — прошелестел в камышах, и в этом шелесте Кнату почудился отзвук далёкого смеха. Или плача. Он так и не понял.

Он поднялся на ноги — колени подгибались, но держали. Осмотрел себя: одежда промокла насквозь, сапоги полны воды, котомка чудом уцелела, хотя её содержимое пострадало — сушёные травы превратились в мокрую кашу. Нож был на месте. Он вытащил его, проверил лезвие — целое. Потом отжал, насколько мог, полы плаща и двинулся прочь от болота. Нужно было найти сухое место, развести костёр... Костра не получится, напомнил он себе. Огонь не живёт в Пустоземье. Тогда просто укрыться, согреться собственным телом. И подумать.

Он шёл и думал. Вернее, пытался думать — мысли ворочались тяжело, как жернова. Морок показал ему то, что он и сам уже подозревал: Пустоземье не просто враждебно, оно разумно. Оно знает его страхи, его слабости, его воспоминания. Оно роется в душе, как в сундуке, и вытаскивает оттуда самое дорогое, чтобы обратить это против него. Мать. Отец. Бабка. Завтра это может быть Охот, или братья, или кто-то ещё из тех, кого он любил. Или, что хуже, — его собственная Тень, которая, как предупреждал Охот, здесь обретёт самостоятельность.

Он должен быть готов. Должен научиться отличать реальность от наваждения. Но как? Где критерий? Где та грань, за которой знакомое становится ложью?

Кнат вспомнил, что первым признаком были следы-копытца. Значит, мороки не могут до конца скрыть свою природу — в них всегда есть изъян, несоответствие, деталь, выдающая подделку. Нужно быть внимательным. Смотреть не только на лицо, но и на тень, которую отбрасывает фигура. Слушать не только голос, но и эхо. Замечать мелочи. В мелочах — спасение.

Он также понял, что амулет — не просто пассивный оберег. Он реагирует на угрозу. Когда Кнат был на грани гибели, камень засиял и вытолкнул его из трясины. Значит, амулет чувствует опасность и может действовать активно. Но каждая такая активность истощает его. Трещина — это цена. Сколько ещё раз он сможет положиться на защиту Охота? Пять? Три? Один? Он не знал. И это незнание было худшим из испытаний.

Он шёл до тех пор, пока ноги не отказались идти. Тогда он выбрал относительно сухой пригорок под искривлённым деревом, наломал веток — живых, губчатых, но всё же создающих подобие укрытия, — и упал на мох, обессиленный. Сон навалился мгновенно, чёрный, без сновидений. Но перед тем, как провалиться в забытие, он услышал — или ему показалось? — шум крыльев над головой. И скрипучий, знакомый голос произнёс откуда-то сверху:

— Урок усвоен. Но это был только первый. Дальше будет хуже.

Могол. Конечно, Могол. Он был рядом всё это время. Наблюдал. Ждал. И теперь дал понять, что испытания только начинаются.

Кнат хотел ответить что-то резкое, но сил не было. Он только сжал зубы и закрыл глаза.

Глава 7

На четвёртое утро после болотного морока Кнат проснулся с ощущением, что за ним следят.

Он давно привык к этому чувству — в Пустоземье оно было таким же вездесущим, как запах гнили и желтоватый свет. С первого дня пребывания за Чертой он знал: лес смотрит. Духи, тени, неведомые твари — все они наблюдали за ним с тем терпеливым, нечеловеческим вниманием, от которого хотелось сжаться в комок и спрятаться под корягу. Но за эти дни — или недели? — он научился отличать общий, рассеянный взгляд Пустоземья от прицельного, направленного именно на него. И сейчас это был именно такой взгляд. Не враждебный, но и не дружественный. Изучающий. Выжидающий.

Кнат открыл глаза и медленно, стараясь не делать резких движений, осмотрелся. Он лежал на своём обычном месте — под выворотнем, который служил ему укрытием последние несколько ночей. Мох под боком спрессовался, приняв форму тела, и пах прелью и чем-то кислым. Воздух был всё так же неподвижен и тяжёл. Свет, просачивающийся сквозь сплетённые ветви, имел всё тот же желтоватый оттенок старой кости. Ничего не изменилось. Кроме одного.

На ветке, прямо напротив его убежища, сидел ворон.

Это был Могол — Кнат узнал его сразу, хотя видел до сих пор лишь дважды, и оба раза в сумерках. Птица была крупной, заметно крупнее обычных воронов, с мощным клювом, отливающим синевой в тусклом свете, и перьями, которые казались не чёрными, а тёмно-синими, как ночное небо перед грозой. Но самым странным в этой птице было не оперение и не размер. Самым странным был взгляд. Глаз ворона — круглый, чёрный, без белков — смотрел на Кната в упор, не мигая. И в этом взгляде не было ничего птичьего. Так смотрит не зверь, высматривающий добычу, и не любопытная тварь. Так смотрит тот, кто знает. Кто понимает. Кто ждёт.

Кнат сел, потирая затёкшую шею, и хмуро уставился на птицу. Ворон не шелохнулся. Сидел на ветке, как изваяние, и только лёгкое колыхание перьев на груди выдавало, что он жив.

— Опять ты, — произнёс Кнат хриплым со сна голосом. — Что, теперь будешь сидеть и пялиться?

Ворон не ответил. Даже головой не повернул. Только моргнул — медленно, тяжело, словно делал большое одолжение.

Кнат фыркнул и полез в котомку. Еды почти не осталось: несколько вяленых полосок мяса неизвестного происхождения — он уже и не помнил, какого зверя ему удалось подстеречь и убить на прошлой неделе, — и горсть безвкусных чёрных ягод, которые он собирал скорее по привычке, чем ради насыщения. Он пожевал мясо, стараясь растянуть скудный завтрак подольше, и запил глотком ржавой воды из фляги. Вкус был отвратительный, но он уже привык. Ко всему здесь привыкаешь. Даже к тому, что умираешь медленно, по капле.

Поев, он поднялся и двинулся в путь. У него не было определённого направления — он просто шёл вперёд, туда, где деревья казались чуть менее искорёженными, а воздух — чуть менее тяжёлым. Где-то там, в глубине Пустоземья, должно было находиться его сердце. Источник. Место силы, о котором говорил Охот. Кнат не знал, как оно выглядит и как далеко до него, но верил: он узнает, когда придёт. Если придёт.

Ворон полетел следом.

Кнат слышал его за спиной — не шум крыльев (Могол летал беззвучно, как сова), а лёгкое движение воздуха, которое ощущалось скорее кожей, чем слухом. Птица перелетала с ветки на ветку, держась в отдалении, но неизменно оставаясь в пределах видимости. Иногда Кнат оборачивался и встречал всё тот же пристальный, немигающий взгляд. Иногда ворон исчезал на несколько минут, и Кнат уже думал, что избавился от него, но потом вдруг замечал его на

ветке впереди — как будто тот обогнал его и теперь ждал там, где Кнату только предстояло пройти.

Это было невыносимо.

К полудню (он определил это по тому, что желтоватое пятно на небе сместилось к зениту) раздражение Кната переросло в глухую, ноющую злобу. Он пытался сосредоточиться на поисках пищи, на высматривании звериных следов, на оценке съедобности встречающихся грибов, но взгляд ворона, словно сверло, буравил затылок, и мысли рассыпались. Кнат ловил себя на том, что бормочет ругательства под нос, что сжимает кулаки, что идёт быстрее, чем нужно, чтобы оторваться от преследователя, — но оторваться не удавалось. Могол был везде. Он был как тень, которая не исчезает в полдень.

— Что тебе нужно?! — не выдержал наконец Кнат, резко обернувшись. — Что ты таскаешься за мной, как собачонка? Говори, раз умеешь!

Ворон сидел на низком суку изогнутого дерева, в нескольких саженях от него. При звуке человеческого голоса он склонил голову набок — точь-в-точь как в тот первый раз, — но ничего не ответил. Только смотрел.

Кнат, тяжело дыша, уставился на него. Бессильная ярость клокотала в груди. Он вспомнил, как Могол заговорил с ним в первый раз — повторил его собственные мысли. Вспомнил, как он произнёс фразу над болотом: «Урок усвоен. Но это был только первый». Значит, он умеет говорить. Умеет, но не хочет. Почему? Зачем тогда следовать за ним? Зачем торчать на ветке и сверлить глазами, если всё равно молчишь?

— Тебе велели следить за мной? — спросил Кнат уже спокойнее. — Ты слуга Хозяйки? Или Охота? Или сам по себе?

Молчание. Только лёгкий ветерок — первый за долгое время — шевельнул перья на груди ворона, и они отозвались глухим, призрачным отливом.

Кнат сплюнул на мох и пошёл дальше. Он решил игнорировать птицу. В конце концов, какая разница — пусть смотрит. Может, ему просто скучно. Может, он ждёт, когда Кнат сдохнет, чтобы выклевывать глаза. Что ж, пусть ждёт.

Но игнорировать не получалось. Взгляд Могола был слишком тяжёлым. Он проникал под кожу, охлаждал затылок, заставлял поминутно оборачиваться и проверять, там ли ещё птица. И она всегда была там. Всегда. На ветке справа, на ветке слева, на поваленном стволе впереди. Могол не нападал, не угрожал, но его присутствие было хуже любой угрозы. Оно давило. Изматывало. Вытягивало последние силы.

К вечеру Кнат был полностью истощён — не физически (хотя голод и слабость никуда не делись), а душевно. Он чувствовал себя как натянутая тетива, готовая лопнуть от любого прикосновения. Он сидел у корней кряжистого дерева, обхватив голову руками, и пытался унять дрожь. Перед глазами плавали тёмные пятна. В ушах звенело — тот самый высокий, монотонный звон, который сопровождал его с первых дней в Пустоземье, но теперь он стал громче, навязчивее.

И Могол был тут как тут. Устроился на ветке прямо над головой Кната — так близко, что тот слышал его дыхание. Редкое, тихое, почти неслышное, но всё-таки дыхание. Живое.

— Убирайся, — прошептал Кнат, не поднимая головы. — Убирайся, или я сверну тебе шею.

Ворон не шелохнулся.

— Слышишь? — Кнат поднял голову и посмотрел на птицу мутными от усталости глазами. — Убирайся. Ты меня с ума сводишь. Ты думаешь, это смешно — сидеть и пялиться? Думаешь, это забавно? Я тут подыхаю с голоду, я забыл, как выглядит солнце, я разговариваю сам с собой, потому что больше не с кем, а ты... ты просто смотришь!

Голос его сорвался на крик. Он вскочил, схватил с земли первый попавшийся камень — небольшой, с кулак размером, обломок какой-то породы, — и швырнул в ворона. Камень

просвистел в воздухе и ударился о ствол в том месте, где секунду назад сидела птица. Могол снялся с ветки за мгновение до удара — беззвучно, как призрак, — и перелетел на соседнее дерево. Там он снова сел и снова уставился на Кната.

— Убей меня, и останешься совсем один, — произнёс он.

Голос был всё тот же — скрипучий, глухой, лишённый интонаций, но разборчивый. Человеческий голос, выходящий из птичьего горла. Слова упали в тишину и повисли в ней, как брошенный камень висит в воздухе, прежде чем упасть. Кнат замер с поднятой для нового броска рукой. Камень выпал из пальцев.

— Что? — переспросил он, хотя расслышал всё.

— Убей меня, — повторил ворон, — и останешься совсем один. Не будет ни проводника, ни тюремщика. Ни голоса в тишине. Только ты и твоё безумие. Ты этого хочешь?

Кнат опустил руку. Дыхание его выровнялось медленно, нехотя. Он смотрел на птицу и чувствовал, как гнев отступает, сменяясь усталостью и странным, горьким любопытством.

— Так ты всё-таки умеешь говорить, — проговорил он, садясь обратно на землю. — Чего же молчал? Зачем эти игры?

Ворон не ответил сразу. Он переступил с лапы на лапу, расправил крылья, встряхнулся — совсем как обычная птица, — и только потом заговорил:

— Ты был не готов слушать. Ты и сейчас не готов. Но ты близок. Ближе, чем вчера. Ближе, чем когда упал в болото. Ты начинаешь понимать.

— Что понимать? — спросил Кнат.

— Что ты не один. И что это — не утешение.

Конат нахмурился. Он помнил слова Охота, сказанные на пороге: «С тобой не будет ни меня, ни духов-помощников, ни даже твоей Тени — она станет отдельной и чужой. У тебя будет только то, что внутри тебя». Но Могол опровергал эти слова. Он был здесь. Дух-помощник? Или кто-то иной?

— Ты — дух? — спросил он прямо. — Дух-посланник, как ты сказал в прошлый раз? Или ты просто птица, в которую вселился кто-то?

Могол издал звук, похожий на карканье, но в нём слышалось что-то отдалённо напоминающее смех.

— Я — Могол, — сказал он. — Этого достаточно. Я пришёл к тебе, потому что ты пришёл сюда. Ты вошёл в Пустоземье, и Пустоземье вошло в тебя. Я — часть этого леса, как и ты теперь. Мне велено быть с тобой, пока ты не пройдёшь свой путь. Или пока не сгинешь. Что случится раньше.

— Кем велено? — Кнат подался вперёд. — Хозяйкой? Или Охотом?

— Это не важно. Важно то, что я здесь. И я не уйду, сколько бы камней ты ни бросил. Можешь попробовать убить меня — я не стану уворачиваться. Но тогда ты действительно останешься один. И одиночество здесь, — ворон повёл крылом, обводя окружающий лес, — это не просто тишина. Это смерть. Медленная, как гниение. Ты уже на грани. Ещё немного — и ты начнёшь разговаривать с деревьями всерьёз. А они умеют отвечать. Но тебе не понравится то, что они скажут.

Кнат опустил голову. Крыть было нечем. Могол был прав — он уже чувствовал, как рассудок истончается, как реальность смешивается с видениями, как прошлое и настоящее перетекают друг в друга. Если бы не этот ворон, он, возможно, уже давно бы пропал. Морок с матерью показал ему, насколько он уязвим. Амулет спас его, но амулет не мог говорить. А Могол — мог. И его слова, пусть язвительные и пугающие, были хоть каким-то якорем, связывающим Кната с действительностью.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Будь со мной. Смотри. Только... говори иногда. Хотя бы изредка. Тишина меня убивает.

Ворон склонил голову на другой бок, обдумывая просьбу.

— Я буду говорить, — ответил он после паузы, — когда будет нужно. Не раньше. Ты должен научиться слушать не только ушами. А пока — молчи и смотри. Смотри и учись.

— Чему? — горько усмехнулся Кнат. — Чему тут можно учиться? Как подышать с голоду? Как не сойти с ума? Как жрать падаль?

— Всеми этому — тоже, — невозмутимо ответил Могол. — Но главное — другому. Ты будешь учиться языку.

— Какому языку? Ты о чём?

— Языку леса. Языку ветра. Языку тех, кто не говорит словами. Ты думаешь, тишина пуста? Нет. Она полна голосов. Просто твои уши ещё не готовы их слышать. Я научу тебя.

Кнат уставился на ворона. В голове у него смешались надежда, недоверие и усталость. Надежда на то, что он не просто так здесь, что у его пребывания в Пустоземье есть цель и смысл. Недоверие — потому что каждое слово Могола отдавало двойным дном. Усталость — потому что сил на споры уже не было.

— Когда? — только и спросил он.

— Завтра, — ответил ворон. — Или послезавтра. Или через неделю. Когда будешь готов. А пока — спи. Завтра будет трудный день.

Кнат хотел возразить, что трудными были все дни, что он уже и не помнит, когда было легко, но слова застряли в горле. Он вдруг почувствовал, как на него наваливается свинцовая тяжесть — не сон, а какое-то оцепенение, похожее на транс. Веки налились тяжестью. Тело перестало слушаться. Последнее, что он увидел перед тем, как провалиться в темноту, был Могол, сидящий на ветке и смотрящий на него немигающим чёрным глазом. А потом пришли сны.

На этот раз сны были другими. Не те яркие, реалистичные видения, что посылали ему духи, а что-то более глубокое, древнее. Ему снился лес — но не тот Пустоземье, в котором он находился, а другой, живой, полный звуков и запахов. Зелёный, с высокими кронами, сквозь которые пробивалось настоящее солнце. Пели птицы. Журчал ручей. Где-то вдалеке стучал дятел. Кнат шёл по этому лесу и чувствовал, как каждая травинка, каждый лист обращается к нему. Не словами — чувствами. Трава под ногами пела тоненько, как натянутая струна. Ветер нащёптывал обрывки каких-то историй. Корни деревьев гудели басовито и низко, как огромные колокола, зарытые в землю. И Кнат понимал эти голоса. Не умом — телом. Он был частью этого леса, и лес принимал его.

Потом сон изменился. Он оказался в том самом лесу, но теперь над ним сгустились тучи, и солнце померкло. Трава умолкла. Ветер стих. Деревья замкнулись в себе, и их гул превратился в глухой, угрожающий рокот. Кнат почувствовал себя чужим. Отвергнутым. Он открыл рот, чтобы заговорить с лесом, как говорил раньше, но из горла не вылетело ни звука. Язык леса был утерян. И тогда из-за деревьев вышла она. Хозяйка Пустоземья. Её облик был таким, каким Кнат его представлял: огромная женская фигура, сотканная из ветвей, паутины и костей. Лицо её было лицом его матери, и лицом бабки, и лицом Охота — все сразу, наложенные друг на друга, как полупрозрачные слои слюды. Она посмотрела на Кната и улыбнулась. Улыбка была ласковой и страшной одновременно.

— Ты потерял язык, — сказала она голосом, в котором смешались все звуки леса. — Хочешь, я верну его тебе? Хочешь снова слышать, как плачет трава? Как поёт ветер?

Кнат кивнул, не в силах вымолвить ни слова.

— Тогда слушай, — сказала Хозяйка. — Слушай тишину. В ней — все языки, которые ты ищешь. Слушай, и однажды ты заговоришь снова.

И она протянула к нему руку — длинную, узловатую, похожую на ветвь. В ладони у неё лежало что-то маленькое, светящееся. Кнат присмотрелся. Это был камень — точь-в-точь такой же, как тот, что висел у него на груди. Только целый. Без трещин. Хозяйка улыбнулась ещё шире и вдруг сжала ладонь. Раздался хруст. Осколки камня посыпались на землю, и каж-

дый из них был словом — живым, трепещущим, которое, коснувшись земли, прорастало травой, цветком, деревом. Лес оживал снова, и Кнат чувствовал, как его уши наполняются звуками.

Он проснулся.

Могол сидел на прежнем месте. Свет не изменился — то ли прошла целая ночь, то ли всего пара часов. Кнат сел, прижимая ладонь к груди, туда, где под одеждой лежал амулет. Камень был тёплым. Но теперь Кнат знал — это тепло не только оберега, но и напоминания. Напоминания о том, что он здесь не просто так. Что он должен научиться слышать. Что Пустоземье — не тюрьма, а школа.

Он посмотрел на Могола. Ворон, как всегда, не отводил взгляда.

— Ты знал? — спросил Кнат хрипло. — Знал, что мне приснится?

— Я ничего не знаю, — ответил ворон. — Я только смотрю. Но я видел многих до тебя. Ты не первый и не последний. Все вы проходите через одно и то же. Сны, видения, страхи. Кто-то ломается. Кто-то выживает. Ты пока держись.

— Что мне делать? — спросил Кнат. — Как научиться этому языку?

— Для начала — перестань задавать вопросы, — каркнул Могол. — Язык леса не учат головой. Его учат телом. Ушами. Нутром. Ты должен замереть и слушать. Не меня, не свои мысли — тишину. Слушай тишину, и когда она заговорит — ты узнаешь. А пока — вставай. Нам пора идти.

— Куда?

— Увидишь, — ответил ворон и снялся с ветки. — Иди за мной. И не отставай.

Впервые за долгое время Кнат поднялся на ноги не с чувством обречённости, а с чем-то похожим на любопытство. Он не знал, куда ведёт его Могол и что ждёт впереди. Но по крайней мере у него была цель. И был проводник. Пусть странный, пусть жутковатый, но проводник. Тот, кто знает этот лес. Тот, кто говорит на его языке.

Он закинул котомку за спину и зашагал вслед за птицей, чей силуэт то исчезал в переплетении ветвей, то появлялся вновь, указывая путь. Сзади остались болото, мороки и ужас первых дней. Впереди — неизвестность. Но теперь в этой неизвестности был смысл. И это меняло всё.

Могол летел, не оборачиваясь. Кнат шёл за ним, стараясь не отставать. А тишина вокруг постепенно, едва заметно, начинала наполняться звуками — теми самыми, которые он слышал во сне: далёким гулом корней, шёпотом травы, дыханием ветра. Он ещё не понимал их, но уже знал: они есть. Они всегда были здесь. Просто нужно было научиться слушать.

Глава 8

У

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.